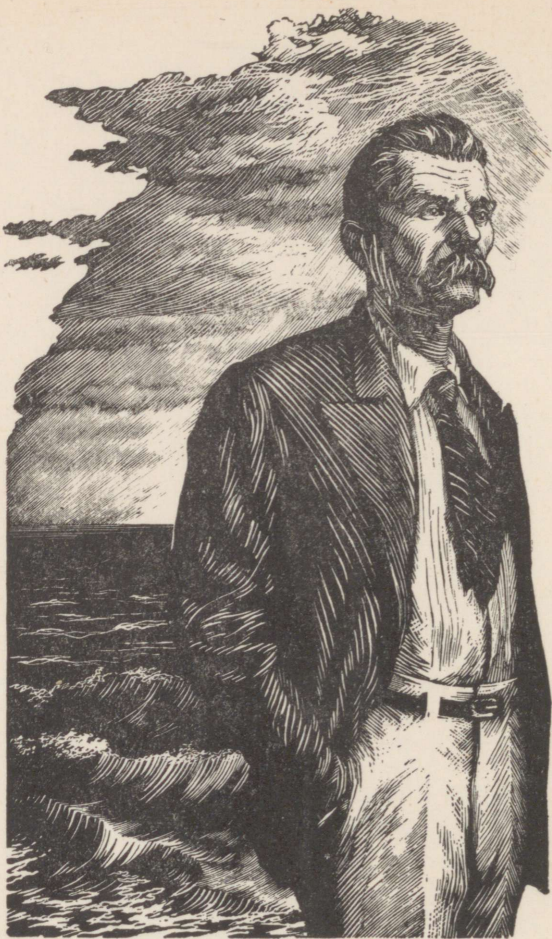


KLASSIVÄLISEKS LUGEMISEKS



М. Торький
РАССКАЗЫ





1А-7902

Русские классики
для эстонских школ

М. ГОРЬКИЙ

ИЗБРАННЫЕ РАССКАЗЫ

«Для меня книга — чудо, в ней заключена душа написавшего её; открыв книгу, я освобождаю эту душу, и она таинственно говорит со мною».

Горький «В людях».



ЭСТОНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ТАЛЛИН 1955

SAATEKS

Käesolev kogu M. Gorki teoseid on määratud klassiväliseks lugemiseks keskkooli vanemale astmele (VIII—XI kl.). Et eesti keskkooli õpilased juba VIII klassist alates võiksid Gorkit originaalis lugeda, siis on selle väljaande sõnavaraliseks baasiks võetud 7-kl. kooli sõnavara. Kogusse on võetud Gorki esikteos «Макар Чудра» (1892), mida kirjanduslugu hindab kui eredalt romantiist teost, mis oma olemuselt on lähedane Puškini, Lermontovi, Gogoli ja Garšini romantikale. Teiseks «Челкаш» (1895) «paljasjalgsete» tüübina, mis on kirjutatud juba kriitilise realismi meetodil ning milles ilmneb Gorki omapärasus: realistliku ja romantilise elemendi koos esinemine. Autobiograafilisest triloogiast on toodud «Детство» (1913) ja «В людях» (1916) lühendatult, kuna välja on jäetud «Мои университеты» (1923), mis eestikeelses tõlkes leidub XI kl. lugemikus. See kolmikteos hõlmab terve aastakümne kirjaniku kõige küpsmast loomingu-east ja annab erakordselt ereda pildi tema lapsepõlvest ning noorusest. Gorki elukroonika on võtmeks kogu ta loomingu mõistmisel ning lahtimõtestamisel.

Uute sõnade õppimine on tõsine ja tulus ajutreening. Enne jututeksti lugemist on soovitav lehekülje joone all seletatud sõnad hoolega läbi lugeda.

Joonealuseid sõnu on püütud seletada koos kontekstiga. Lausest väljakistud üksik sõna on väga visa meelde jääma, kuid ühes kontekstiga, s. o. koos paari teise tema juurde kuuluva sõnaga ta juurdub nagu iseenesest mälusse. Sel teel saab ka varem esinenud vähetuntud sõnad veel mitu korda mälust läbi lasta, et nad kindlmini jääksid meelde.

Toimetus

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

<i>арх.</i>	= архаическое, устарелое
<i>вульг.</i>	= вульгарное
<i>ж.</i>	= женский род
<i>ласк.</i>	= ласкательное
<i>м.</i>	= мужской род
<i>мн.</i>	= множественное число
<i>нем.</i>	= немецкое
<i>просто нар.</i>	= простонародное
<i>ругат.</i>	= ругательное
<i>слав.</i>	= славянское
<i>укр.</i>	= украинское
<i>уменьш.</i>	= уменьшительное

МАКАР ЧУДРА

С моря дул влажный, холодный ветер, разнося по степи задумчивую мелодию плёска набегавшей на берег волны и шёлеста прибрежных кустов. Изредка его порывы приносили с собой сморщенные, жёлтые листья и бросали их в костёр, раздувая пламя; окружающая нас мгла осенней ночи вздрагивала и, пугливо отодвигаясь, открывала на миг слева — безграничную степь, справа — бесконечное море и прямо против меня — фигуру Макара Чудры, старого цыгана, — он сторожил коней своего табора, раскинутого шагах в пятидесяти от нас.

Не обращая внимания на то, что холодные волны ветра, распахнув чекмень, обнажили его волосатую грудь и безжалостно бьют её, он полулежал в красивой, сильной позе, лицом ко мне, методически потягивал из своей громадной трубки, выпускал изо рта и носа густые клубы дыма и, неподвижно уставив глаза куда-то через мою голову в мёртвую молчавшую темноту степи, разговаривал со мной, не умолкая и не делая ни одного движения к защите от резких ударов ветра.

— Так ты ходишь? Это хорошо! Ты славную долю выбрал себе, сокол. Так и надо: ходи и смотри, насмотрелся, ляг и умирай — вот и всё!

— Жизнь? Иные люди? — продолжал он, скептически выслушав моё возражение на его «так и надо». — Эге!

плеск волн — *lainete sulin*
шёлест кустов — *rõdsaste kahin*
порыв ветра — *tuulepuhang*
сморщенные листья — *kortsu-
pid' lehed*
раздувать пламя — *leeki õhuta-
ma*
вздрагивать — *võpatama*
отодвигаться — *eemale nihkuma*
цыган — *mustlane*

табор = (цыганский) лагерь
чекмень (м.) = верхняя одежда
клубы дыма = облака дыма
уставив глаза в темноту —
üksisilmi pimedusse vahtides
сокол — *pistrik, jahikull; meelt-
tusnimena peaks siin tõlkima:*
kotkas
возражение = ответ

А тебе что до этого? Разве ты сам — не жизнь? Другие люди живут без тебя и проживут без тебя. Разве ты думаешь, что ты кому-то нужен? Ты не хлеб, не палка, и не нужно тебя никому.

— Учиться и учить, говоришь ты? А ты можешь научиться сделать людей счастливыми? Нет, не можешь. Ты поседей сначала, да и говори, что надо учить. Чему учить? Всякий знает, что ему нужно. Которые умнее, те берут что есть, которые поглупее — те ничего не получают, и всякий сам учится...

— Смешные они, те твои люди. Сбились в кучу и дают друг друга, а места на земле вон сколько, — он широко повёл рукой на степь. — И всё работают. Зачем? Кому? Никто не знает. Видишь, как человек пашет, и думаешь: вот он по капле с потом силы свои источит на землю, а потом ляжет в неё и сгниёт в ней. Ничего по нём не останется, ничего он не видит с своего поля и умирает, как родился, — дураком.

— Что ж, — он родился затем, что ли, чтоб поковырять землю, да и умереть, не успев даже могилы самому себе выковырять? Вёдома ему воля? Ширь степная понятна? Говор морской волны веселит ему сердце? Он раб — как только родился, всю жизнь раб, и всё тут! Что он с собой может сделать? Только удавиться, коли поумнеет немного.

— А я, вот смотри, в пятьдесят восемь лет столько видел, что коли написать всё это на бумаге, так в тысячу таких торб, как у тебя, не положишь. А ну-ка, скажи, в каких краях я не был? И не скажешь. Ты и не знаешь таких краёв, где я бывал. Так нужно жить: иди, иди — и всё тут. Долго не стой на одном месте — чего в нём? Вон как день и ночь бегают, гоняясь друг за другом, вокруг земли, так и ты бегай от дум про жизнь, чтоб не разлюбить её. А задумаешься — разлюбишь жизнь, это

поседе́ть = стать седым
сби́лись в кучу — läksid mütsakusse kokku
да́вят друг друга — suruvad üksteist
исто́чит си́лу — nõrjutab oma jõu
сгни́ть — mädanema
по нём = после него
ковы́рять землю — mullas urgitsema

моги́ла — haud
вёдома ему воля? = знает ли он свободу?
раб — oги
уда́виться = повеси́ться (end üles rooma)
ко́ли = если (kui)
то́рба = мешок, сума
разлю́бить = перестать любить

всегда так бывает. И со мной это было. Эге! Было, сокол.

— В тюрьме я сидел, в Галичине. «Зачем живу на свете?» — помыслил я со скуки, — скучно в тюрьме. сокол, э, как скучно! — и взяла меня тоска за сердце, как посмотрел я из окна на поле, взяла и сжала его клещами. Кто скажет, зачем он живёт? Никто не скажет, сокол! И спрашивать себя про это не надо. Живи, и всё тут. И похаживай да посматривай кругом себя, вот и тоска не возьмёт никогда. Я тогда чуть не удавился поясом, вот как!

— Хе! Говорил я с одним человеком. Строгий человек, из ваших, русских. Нужно, говорит он, жить не так, как ты сам хочешь, а так, как сказано в божьем слове. Богу покоряйся, и он даст тебе всё, что попросишь у него. А сам он весь в дырках, рваный. Я и сказал ему, чтобы он себе новую одежду попросил у бога. Рассердился он и прогнал меня, ругаясь. А до того говорил, что надо прощать людей и любить их. Вот бы и простил мне, коли моя речь обидела его милость. Тоже — учитель! Учат они меньше есть, а сами едят по десять раз в сутки.

Он плюнул в костёр и замолчал, снова набивая трубку. Ветер выл жалобно и тихо, во тьме ржали кони, из табора плыла нежная и страстная песня-думка. Это пела красавица Нонка, дочь Макара. Я знал её голос густого, грудного тёмбра, всегда как-то странно, недовольно и требовательно звучащий — пела ли она песню, говорила ли «здравствуй». На её смуглом, матовом лице замерла надменность царицы, а в подёрнутых какой-то тенью темнокарих глазах сверкало сознание неотразимости её красоты и презрение ко всему, что не она сама.

тоска — nukrus, tusk
похаживать = ходить не то-
ропясь
покоряться — alistuma
дыра — auk
обидеть — solvama
нежный — õrn
страстный — kirglik
песня-думка = народная песенка
смуглое лицо — tõmmu nägu

замирать = застывать — (tar-
duma)
надменность царицы — keisrin-
na kõrkus
темнокарие глаза — tumepruu-
nid silmad
подёрнутые тенью — varjuga
kattunud
неотразимость — vastupanda-
matus
презрение — põlgus

Макар подал мне трубку.

— Курй! Хорошо поёт девка? То-то! Хотел бы, чтоб такая тебя полюбила? Нет? Хорошо! Так и надо — не верь девкам и держись от них дальше. Девке целоваться лучше и приятней, чем мне трубку курить, а поцеловал её — и умерла воля в твоём сердце. Привяжет она тебя к себе чем-то, чего не видно, а порвать — нельзя, и отдашь ты ей всю душу. Верно! Берегись девок! Лгут всегда! Люблю, говорит, больше всего на свете, а ну-ка, уколи её булавкой, она разорвёт тебе сердце. Знаю я! Эге, сколько я знаю! Ну, сокол, хочешь, скажу одну бль? А ты её запомни и, как запомнишь, — век свой будешь свободной птицей.

«Был на свете Зобар, молодой цыган, Лойко Зобар. Вся Вѣнгрия, и Чѣхия, и Славония, и всё, что кругом моря, знало его, — удамый был малый! Не было по тем краям деревни, в которой бы пяток-другой жителей не давал богу клятвы убить Лойко, а он себе жил, и уж коли ему понравился конь, так хоть полк солдат поставь сторожить того коня — всё равно Зобар на нём гарцовать станет! Эге! разве он кого боялся? Да приди к нему сатана со всей своей свитой, так он бы, коли б не пустил в него ножа, то наверно бы крепко поругался, а что чертям подарил бы по пинкѹ в рыло — это уж как раз!

«И все таборы его знали или слышали о нём. Он любил только коней и ничего больше, и то недолго — поедит, да и продаст, а деньги, кто хочет, тот и возьми. У него не было завѣтного — нужно тебе его сердце, он сам бы вырвал его из груди, да тебе и отдал, только бы тебе от того хорошо было. Вот он какой был, сокол!

«Наш табор кочевал в то время по Буковине, — это годов десять назад тому. Раз — ночью весенней — сидим

целоваться — suudlema
уколѳть булавкой — pѳrпѳe-
laga torkama
бль (ж.) = то, что было —
(olnu)
век свой = всю свою жизнь
удамый = удалой — (uljas)
сторожить — valvama
гарцовать = ездить верхом, по-
казывая свою ловкость

свита — saatjaskond
пинѳк — jalahoop, vѳmm
рыло — seakarss, siin: molu
не было завѣтного = ничего
любимого, дорогого, святого
кочевать = бродить с одного
места на другое со своим
жильѳм и имуществом

мы: я, Данило солдат, что с Кошутом¹ воевал вместе, и Нур старый, и все другие, и Радда, Данилова дочка.

«Ты Нонку мою знаешь? Царица-девка! Ну, а Радду с ней равнять нельзя — много чести Нонке! О ней, этой Радде, словами и не скажешь ничего. Может быть, её красоту можно бы на скрипке сыграть, да и то тому, кто эту скрипку, как свою душу знает.

«Много посушила она сердце молодёцких, ого, много! На Мораве один магнат, старый, чубатый, увидел её и остолбенел. Сидит на коне и смотрит, дрожа, как в огневице. Красив он был, как чорт в праздник, жупан шит золотом, на боку сабля, как молния сверкает, чуть конь ногой топнет, вся эта сабля в камнях драгоценных, и голубой бархат на шапке, точно неба кусок, — важный был господарь старый! Смотрел, смотрел, да и говорит Радде: «Гей! Поцелуй, кошель денег дам». А та отвернулась в сторону, да и только! «Прости, коли обидел, взгляни хоть поласковой», — сразу сбавил спеси старый магнат и бросил к её ногам кошель — большой кошель, брат! А она его будто невзначай пнула ногой в грязь, да и всё тут.

«— Эх, девка! — охнул он, да и плетью по коню — только пыль взвилась тучей.

«А на другой день снова явился. «Кто её отец?» — громом гремит по табору. Данило вышел. «Продай дочь, что хочешь возьми!» А Данило и скажи ему: «Это только

скрипка — viiul

магнат = крупный капиталист, влиятельный богач

чуб — juuksetutt

чубатый — pikatukaline

остолбенеть = от удивления стоять как столб — (jahmuma)

огневица = лихорадка (palavik)

жупан — poolkasukas ukrainlastel ja poolakail

сабля — mõõk

голубой бархат — helesinine samet

господарь — титул правителей в прежней Молдавии и Валахии, когда эти земли были под властью Турции

кошель (м.) = кошелек (rahakott)

сбавил спеси — kahandas kõrkust

невзначай = нечаянно (koge-mata)

пнуть — tõukama, lükkama

девка = девушка, девица

плеть (ж.) = кнут из ремней или верёвок (rihmpiits)

¹ Kossuth (1802—1894) — Ungari vabadusvõitleja 1848. a. revolutsioonis. Vabastas oma kodumaa Austria võimu alt ja kuulutas selle 1849. a. sõltumatuks vabariigiks. Kui aga vene väed Austriale appi tulid, siirdus K. maapakku. Mustlane Danilo võitles Kossuthi vabadusvõitlejate ridades.

паны продают всё, от своих свиней до своей совести, а я с Кошутым воевал и ничем не торгую!» Взревел было тот, да и за саблю, но кто-то из нас сунул зажжённый трут в ухо коню, он и унёс молодца. А мы снялись, да и пошли. День идём и два, смотрим — догнал! «Гей вы, говорит, перед богом и вами совесть моя чиста, отдайте девку в жёны мне: всё поделю с вами, богат я сильно!» Горит весь и, как ковыль под ветром, качается в седле. Мы задумались.

«— А ну-ка, дочь, говори! — сказал себе в усы Данило.

«— Кабы орлица к вóрону в гнездо по своей воле вошла, чем бы она стала? — спросила нас Радда.

«Засмеялся Данило и все мы с ним.

«— Славно, дочка! Слышал, господарь? Не идёт дело! Голубок ищи — те податливей. — И пошли мы вперёд.

«А тот господарь схватил шапку, бросил её óземь и поскакал так, что земля задрожала. Вот она какова была Радда, сокол!

«Да! Так вот раз ночью сидим мы и слышим — музыка плывёт по степи. Хорошая музыка! Кровь загоралась в жилах от неё, и звала она куда-то. Всем нам, мы чуюли, от той музыки захотелось чего-то такого, после чего бы и жить уж не нужно было, или, коли жить, так — царями над всей землёй, сокол!

«Вот из темноты вырезался конь, а на нём человек сидит и играет, подъезжая к нам. Остановился у костра, перестал играть, улыбаясь, смотрит на нас.

«— Эге, Зобар, да это ты! — крикнул ему Данило радостно. Так вот он, Лойко Зобар!

«Усы легли на плечи и смешались с кудрями, óчи, как ясные звёзды, горят, а улыбка — целое солнце, ей-богу! Точно его ковали из одного куска жёлёза вместе с конём. Стоит весь, как в крови, в огне костра и свер-

зажжённый трут — põlev taei
мы снялись = ушли оттуда всем
табором

совесть (ж.) — südametunnis-
tus

ковыль (м.) — stepirohi

орлица — emakotkas

вóрон — ronk, kaaren

славно = хорошо

податливый = уступчивый, сто-
ворчивый (järeleandlik)

óземь — vastu maad

в жилах — soontes

чують = чувствовать

кудри — kiharad

óчи = глаза

ковать — (rauda) taguma

каёт зубáми, смеясь! Будь я проклят, коли я его не любил уже, как себя, раньше, чем он мне слово сказал или просто заметил, что и я тоже живу на белом свете!

«Вот, сокол, какие люди бывают! Взглянет он тебе в очи и полонит твою душу, и ничуть тебе это не стыдно, а ещё и гордо для тебя. С таким человеком ты и сам лучше становишься. Мало, друг, таких людей! Ну, так и ладно, коли мало. Много хорошего было бы на свете, так его и за хорошее не считали бы. Так-то! А слушай-ка дальше.

«Радда и говорит: «Хорошо ты, Лойко, играешь! Кто это сделал тебе скрипку такую звонкую и чуткую?» А тот смеётся: «Я сам делал! И сделал её не из дерева, а из груди молодой девушки, которую любил крепко, а струны из её сердца мною свиты. Врёт ещё немного скрипка, ну, да я умею смычок в руках держать!»

«Ивестно, наш брат старается сразу затуманить девке очи, чтоб они не зажгли его сердца, а сами подёрнулись бы по тебе грустью, вот и Лойко тоже. Но — не на ту напал. Радда отвернулась в сторону и, зевнув, сказала: «А ещё говорили, что Зобар умён и ловок, — вот лгут люди!» — и пошла прочь.

«— Эге, красавица, у тебя острые зубы! — сверкнул очами Лойко, слезая с коня. — Здравствуйте, братцы! Вот и я к вам!

«— Просим гостя! — сказал Данило в ответ ему. Поцеловались, поговорили и легли спать... Крепко спали. А наутро, глядим, у Зобара голова повязана тряпкой. Что это? А это конь зашиб его копытом сонного.

«Э, э, э! Поняли мы, кто этот конь, и улыбнулись в усы, и Данило улыбнулся. Что ж, разве Лойко не стоил Радды? Ну, уж нет! Девка как ни хороша, да у ней душа узкая и мелкая, и хоть ты пуд золота повесь её на шею,

будь я проклят — olgu ma peetud

полонить = взять в плен (van-gistama)

стыдно — (on) häbi

гордо — (oled) uhke

чуткий — ergas, tundeline

струна — (pilli) keel

свить — ripuma

смычок — viiulipoogen

наш брат — siin: meiesugune

затуманить очи — (kellegi) silmi uduseks tegema

подёрнуться — kattuma

зевнуть — haigutama

копыто — kabi

зашибать (копытом) = ударить

узкая и мелкая — kitsas ja väiklane

всё равно, лучше того, каковá она есть, не быть ей. А, ну ладно!

«Живём мы да живём на том месте, делá у нас о ту пору хорошие были, и Зобар с нами. Это был товарищ! И мудр, как старик, и свѣдуш во всём, и грамоту русскую и мадьярскую понимал. Бывало, пойдѣт говорить — век бы не спал, слушал его! А играет — убей меня гром, коли на свете ещё кто-нибудь так играл! Проведѣт, бывало, по струнам смычкóм — и вздрóгнет у тебя сердце, проведѣт ещё раз — и замрѣт оно, слушая, а он играет и улыбается. И плакать, и смеяться хотелось в одно время, слушая его. Вот тебе сейчас кто-то стóнет гóрько, просит пóмощи и режет тебе грудь, как ножóм. А вот степь говорит небу сказки, печáльные сказки. Плачет дѣвушка, провожая добра мóлодца! Дóбрый мóлодец клíчет дѣвицу в степь. И вдруг — гей! Громом гремит вольная, живая песня, и само солнце, того и гляди, затанцует по небу под ту песню! Вот как, сокол!

«Каждая жíла в твоём теле понимала ту песню, и весь ты становился рабóм её. И коли бы тогда крикнул Лойко: «В ножí, товарищи!» — то и пошли бы мы все в ножи, с кем указал бы он. Всё он мог сделать с человеком, и все любили его, крепко любили, только Радда одна не смотрит на пáрня; и ладно, коли бы только это, а то ещё и подсмѣивается над ним. Крепко она задела за сѣрдце Зобара, то-то крепко! Зубами скрипит, дѣргая себя за ус, Лойко, óчи темнее бѣздны смотрят, а порой в них такое сверкаёт, что за душу страшно становится. Уйдѣт ночью далеко в степь Лойко, и плачет до утра его скрипка, плачет, хорóнит Зобáрову волю. А мы лежим да слушаем и думаем: как быть? И знаем, что, коли два камня друг на друга катятся, становíтся между ними нельзя — изувѣчат. Так и шло дело.

«Вот сидели мы все в сбóре и говорили о делах. Скучно стало. Данило и просит Лойко: «Спой, Зобар,

мúдрый — tark
свѣдущий — teadlik
(сердце) замираёт = останавливается
дóбрый мóлодец — uljas пог-
tees
кликать (клíчу, клíчешь) —
hõikama

пáрень (м.) — poiss
подсмѣиваться — itsitama
бѣздна = пропáсть (kuristik)
хоронíть — matma
изувѣчить — vigaseks tegema
(сидели) в сбóре = вместе
скúчно стало — igav hakkas

песенку, повесели́ дúшу!» Тот повёл оком на Радду, что неподалёку от него лежала кверху лицом, глядя в небо, и ударил по струнам. Так и заговорила скрипка, точно это и впрáвду дéвичье сердце было. И запел Лойко:

Гей-гей! В груди́ горит огонь,
А степь так широка!
Как ветер, быстр мой бóрзый конь,
Тверда́ моя рука!

«Повернула голову Радда и, привстав, усмехнулась в очи певуну. Вспы́хнул, как заря, он.

Гей, гоп-гей! Ну, товарищ мой!
Поскачем, что ль, вперёд?!
Одета степь сурóвой мглой,
А там рассвет нас ждёт!
Гей-гей! Летим и встретим день.
Взвивайся в выши́ну!
Да только грíвой не задéнь
Красавицу луну!

«Вот пел! Никто уж так не поёт теперь! А Радда и говорит, точно воду цéдит:

«— Ты бы не залетал так высокó, Лойко, неравно упадёшь, да — в лúжу носом, усы запачкаешь, смотри. — Зверем посмотрел на неё Лойко, а ничего не сказал — стерпел парень и поёт себе:

Гей-гоп! Вдруг день придёт сюда,
А мы с тобою спим.
Эй, гей! Ведь мы с тобой тогда
В огне стыда́ сгорим!

«— Это песня! — сказал Данило. — Никогда не слышал такой песни; пусть из меня сатанá себе трубку делает, коли вру я!

«Старый Нур и усами поводи́л, и плечами пожимáл, и всем нам по душе была удалáя Зобáрова песня! Только Радде не понравилась.

впрáвду = в самом деле
бóрзый (конь) = быстрый
певу́н = певец
вспы́хнуть — õhetama lõõma
сурóвый — karm, kale
мгла = темнота
рассвёт = утренняя заря
взвивáться = быстро взлететь
вверх

грíва — (hobuse) lakk
задева́ть — riivama
цеди́ть (воду) — (vett) kurna-
ma; siin: läbi hammaste kõne-
lema
стыд — häbi
я вру = говорю неправду

«— Вот так однажды комар гудел, орлиный клёкот передразнивая, — сказала она, точно снегом в нас кинула.

«— Может быть, ты, Радда, кнута хочешь? — потянулся Данило к ней, а Зобар бросил наземь шапку, да и говорит, весь чёрный, как земля:

«— Стой, Данило! Горячему коню — стальные удила! Отдай мне дочку в жёны!

«— Вот сказал речь! — усмехнулся Данило. — Да возьми, коли можешь!

«— Добро! — молвил Лойко и говорит Радде: — Ну, девушка, послушай меня немного, да не кичись! Много я вашей сестры видел, эге, много! А ни одна не тронула моего сердца так, как ты. Эх, Радда, полонила ты мою душу! Ну что ж? Чему быть, так то и будет, и... нет такого коня, на котором от самого себя ускакать можно было!.. Беру тебя в жёны перед богом, своей честью, твоим отцом и всеми этими людьми. Но смотри, воле моей не перечь — я свободный человек и буду жить так, как я хочу! — И подошёл к ней, стиснув зубы, сверкая глазами. Смотрим мы, протянул он ей руку, — вот, думаем, и надела узду на степного коня Радда! Вдруг видим, взмахнул он руками и оземь затылком — грох!..

«Что за диво? Точно пуля ударила в сердце малого. А это Радда захлестнула ему ремённое кнутовище за ноги, да и дёрнула к себе, — вот отчего упал Лойко.

«И снова уж лежит девка, не шевелясь, да усмехается молча. Мы смотрим, что будет, а Лойко сидит на земле и сжал руками голову, точно боится, что она у него лопнет. А потом встал тихо, да и пошёл в степь, ни на кого не глядя. Нур шепнул мне: «Смотри за ним!» И пополз я за Зобаром по степи в темноте ночной. Так-то, скол!»

комар гудел — sääsk pirises
орлиный клёкот — kotka hää-
litsemine
передразнивать = подражать
(järele aimama)
кинуть = бросить
стальные удила — terasvaljad
кичиться = гордиться
честь (ж.) — au
перечить — vastu rääkima

стиснуть зубы — hambaid kok-
ku suruma
затылок — kukal
ремённое кнутовище — nahkne
piitsakeel
усмехается = смеётся, улы-
бается
сжать, сжимать — pigistama
лопнуть — lõhkema

Макар вы́колотил пѣпел из трубки и снова стал набивать её. Я закутался плотнее в шинель и, лёжа, смотрел на его старое лицо, чёрное от загара и ветра. Он, сурово и строго качая головой, что-то шептал про себя; седые усы шевелились, и ветер трепал ему волосы на голове. Он был похож на старый дуб, обожжённый молнией, но всё ещё мощный, крепкий и гордый своей силой. Море шепталось попрежнему с берегом, и ветер всё так же носил его шопот по степи. Нонка уже не пела, а собравшиеся на небе тучи сделали осеннюю ночь ещё темней.

«Шёл Лойко нога за ногу, повёся голову и опустив руки, как плёти, и, придя в бálку к ручью, сел на камень и óхнул. Так óхнул, что у меня сердце кровью облилось от жалости, но всё ж не подошёл к нему. Словом горю не помóжешь — верно?! То-то! Час он сидит, другой сидит и третий не шелохнётся — сидит.

«И я лежу неподалёку. Ночь светлая, месяц серебром всю степь залил, и далекó всё видно.

«Вдруг вижу: от тábора спешно Радда идёт.

«Весело мне стало! «Эх, важно! — думаю, — удалая девка Радда!» Вот она подошла к нему, он и не слышит. Положила ему руку на плечо; вздрóгнул Лойко, разжál руки и пóднял голову. И как вскочит, да за нож! Ух, порéжет девку, вижу я, и уж хотел, крикнув до тábора, побежать к ним, вдруг слышу:

«— Брось! Голову разобью! — Смотрю: у Радды в руке пистóль, и она в лоб Зобару цéлит. Вот сатана девка! А ну, думаю, они теперь равны по силе, что будет дальше?

«— Слушай! — Радда заткнóла за пояс пистóль и говорит Зобару: — Я не убить тебя пришла, а мириться, бросай нож! — Тот бросил и хмýро смотрит ей в óчи. Дивно это было, брат! Стоят два человека и зверями

вы́колотить — välja koputama
 набивать — täis toppima
 загар — päevitus
 сурово и строго — karmilt ja gangelt
 ветер трепал волосы — tuul kiskus juukseid
 повёся голову — poruspäi
 плеть (жс.) = кнут
 бálка = длинный овраг (põgu)

от жалости — haledusest
 не шелохнётся = не двигается
 разжимать руки — käsi lahti pigistama
 он разжал руки — ta rusikad avanesid
 мириться — ära leppima
 смотрит хмýро — vaatab süngelt
 дивно = удивительно

смотрят друг на друга, а оба такие хорошие, удалые люди. Смотрит на них ясный месяц да я — и всё тут.

«— Ну, слушай меня, Лойко: я тебя люблю! — говорит Радда. Тот только плечами повёл, точно связанный по рукам и ногам.

«— Видάла я молодцов, а ты удалей и краше их душой и лицом. Каждый из них усы себе бы сбрил — моргни я ему глазом, все они пали бы мне в ноги, захоти я того. Но что толку? Они и так не больно-то удалы, а я бы их всех обάбила. Мало осталось на свете удалых цыган, мало, Лойко. Никогда я никого не любила, Лойко, а тебя люблю. А ещё я люблю волю! Волю-то, Лойко, я люблю больше, чем тебя. А без тебя мне не жить, как не жить и тебе без меня. Так вот я хочу, чтобы ты был моим и душой и телом, слышишь? — Тот усмехнулся.

«— Слышу! Вёсело сердцу слушать твою речь! Ну-ка, скажи ещё!

«— А ещё вот что, Лойко: всё равно, как ты ни вертись, я тебя одолею, моим будешь. Так не теряй же даром времени — впереди тебя ждут мои поцелуи да ласки... крепко целовать я тебя буду, Лойко! Под поцелуй мой забудешь ты свою удалую жизнь... и живые песни твои, что так радуют молодцов-цыган, не зазвучат по степям больше — петь ты будешь любовные, нежные песни мне, Радде... Так не теряй даром времени, — сказала я это, значит, ты завтра покоришься мне как старшему товарищу юнаку. Поклонишься мне в ноги перед всем табором и поцелуешь правую руку мою — и тогда я буду твоей женой.

«Вот чего захотела чортова девка! Этого и слыхом не слыхано было; только встарину у черногорцев так было, говорили старики, а у цыган — никогда! Ну-ка, сокол, выдумай что ни то посмешнее? Год поломаешь голову, не выдумашь!

«Прянул в сторону Лойко и крикнул на всю степь, как раненный в грудь. Дрогнула Радда, но не выдала себя.

не больно-то = не очень-то
обάбить = превратить в бабу
как ни вертись — keeruta kui-
das tahad
я тебя одолею — ma saan sust
jagu

поцелуй — suudlus
юнак = юноша
черногорец — montenegrolane
прянул в сторону — pōrkas
kōrgvale

«— Ну, так прощай до завтра, а завтра ты сделаешь, что я велела тебе. Слышишь, Лойко!

«— Слышу! Сделаю, — застонал Зобар и протянул к ней руки. Она и не оглянулась на него, а он зашатался, как сломанное ветром дерево, и пал на землю, рыдая и смеясь.

«Вот как замаяла молодца проклятая Радда. Насилу я привёл его в себя.

«Эхе! Какому дьяволу нужно, чтобы люди горе горевали? Кто это любит слушать, как стóнет, разрываясь от горя, человеческое сердце? Вот и думай тут! . .

«Воротился я в та́бор и рассказал о всём старикам. Подумали и решили подождать да посмотреть, что будет из этого. А было вот что. Когда собрались все мы вечером вокруг костра, пришёл и Лойко. Был он смúтен и похудёл за ночь страшно, глаза ввалились; он опустил их и, не подымая, сказал нам:

«— Вот какое дело, товарищи: смотрел в своё сердце этой ночью и не нашёл места в нём старой вольной жизни моей. Радда там живёт только — и всё тут! Вот она, красавица Радда, улыбается, как царíца! Она любит свою волю больше меня, а я её люблю больше своей воли, и решил я Радде поклониться в ноги, так она велела, чтоб все видели, как её красота покорила удалого Лойку Зобара, который до неё играл с девушками, как крёт с утками. А потом она станет моей женой и будет ласкать и целовать меня, так что уже мне и пёсен петь вам не захочется, и воли моей я не пожалёю! Так ли, Радда? — Он поднял глаза и сúмно посмотрел на неё. Она молча и строго кивнула головой и рукой указала себе на ноги. А мы смотрели и ничего не понимали. Даже уйти куда-то хотелось, лишь бы не видеть, как Лойко Зобар упадёт в ноги девке — пусть эта девка и Радда. Стыдно было чего-то, и жалко, и грустно.

«— Ну! — крикнула Радда Зобару.

как замаяла — kuidas ära kur-

pas

проклятый — neetud

разрываться от горя — murest lõhkema

был он смúтен = беспокойный, мятежный

глаза ввалились — silmad olid auku vajunud

крёт — jahipistik

воли моей не пожалёю — pole mul kahju oma vabadusest

сúмно = задумчиво, тоскливо (mõtlikult)

кивнуть головой — pead poogutama

«— Эге, не торопись, успеешь, надоест ещё... — засмеялся он. Точно сталь зазвенела, — засмеялся.

«— Так вот и всё дело, товарищи! Что остаётся? А остаётся попробовать, такое ли у Радды моей крепкое сердце, каким она мне его показывала. Попробую же, — простите меня, братцы!

«Мы и догадаться ещё не успели, что хочет делать Зобар, а уж Радда лежала на земле и в груди у неё по рукоять торчал кривой нож Зобара. Оцепенели мы.

«А Радда вырвала нож, бросила его в сторону и, зажав рану прядью своих чёрных волос, улыбаясь, сказала громко и внятно:

«— Прощай, Лойко! я знала, что ты так сделаешь!.. — да и умерла...»

«Понял ли девку, сокол?! Вот какая, будь я проклят на веки вечные, дьявольская девка была!

«— Эх! да и поклонюсь же я тебе в ноги, королева гордая! — на всю степь гáркнул Лойко да, бросившись наземь, прильнул устами к ногам мёртвой Радды и замер. Мы сняли шапки и стояли молча.

«Что скажешь в таком деле, сокол? То-то! Нур сказал было: «Надо связать его!..» Не поднялись бы руки вязать Лойко Зобара, ни у кого не поднялись бы, и Нур знал это. Махнул он рукой, да и отошёл в сторону. А Данило поднял нож, брошенный в сторону Раддой, и долго смотрел на него, шевеля седыми усáми, на том ноже ещё не застыла кровь Радды, и был он такой кривой и острый. А потом подошёл Данило к Зобару и сунул ему нож в спину как раз против сердца. Тоже отцом был Радде старый солдат Данило!

«— Вот так! — повернувшись к Даниле, ясно сказал Лойко и ушёл догонять Радду.

«А мы смотрели. Лежала Радда, прижав к груди руку с прядью волос, и открытые глаза её были в голубом

надоест ещё — tüütab veel ära
догадаться — taipama
по рукоять — pidemeni
оцепенеть — tarduma
прядь волос — juuste salk
внятно — selgesti
гордая королева — uhke kunin-
ganna

гáркнуть — hüütama
прильнул устами — surus huu-
led
кровь не застыла — veri ei
olnud veel tardunud
сунул нож — pistis noa

небе, а у ног её раскинулся удалой Лойко Зобар. На лицо его пали кудри, и не видно было его лица.

«Стояли мы и думали. Дрожали усы у старого Данилы, и насыпились густые брови его. Он глядел в небо и молчал, а Нур, седой как лунь, лёг вниз лицом на землю и заплакал так, что ходуном заходили его стариковские плечи.

«Было тут над чем плакать, сокол!

«... Идёшь ты, ну и иди своим путём, не сворачивая в сторону. Прямо и иди. Может, и не загинешь даром. Вот и всё, сокол!»

Макар замолчал и, спрятав в кисёт трубку, запахнул на груди чекмён. Накрапывал дождь, ветер стал сильнее, море рокотало глухо и сердито. Один за другим к угасающему костру подходили кони и, осмотрев нас большими, умными глазами, неподвижно останавливались, окружая нас плотным кольцом.

— Гоп, гоп, эгой! — крикнул им ласково Макар и, похлопав ладонью шею своего любимого вороного коня, сказал, обращаясь ко мне: — Спать пора! — Потом завернулся с головой в чекмён и, могуче вытянувшись на земле, умёлк.

Мне не хотелось спать. Я смотрел во тьму степи, и в воздухе перед моими глазами плавала царственно красивая и гордая фигура Радды. Она прижала руку с прядью чёрных волос к ране на груди, и сквозь её смуглые, тонкие пальцы сочилась капля по капле кровь, падая на землю огненно-красными звёздочками.

А за нею по пятам плыл удалой молодец Лойко Зобар; его лицо завесили пряди густых чёрных кудрей, и изпод них капали частые, холодные и крупные слёзы...

(у ног её) раскинулся (Лойко) =
лежал, широко вытянув руки
и ноги

брови насыпились — kulnud
tõmbusid kortsu

лунь (м.) — jänesekull

седой как лунь — lumivalgete
juustega (rauk)

ходуном заходили плечи — õlad
varpusid

не загинешь = не погибнешь,
не пропадёшь

кисёт — tubakakott

накрапывал дождь — tibutas
vihma

(море) рокотало = шумело
угасающий костёр — kustuv
lõke

вороной конь — ronkmust ho-
bune

сочилась кровь — nirises, immit-
ses verd

его лицо завесили пряди куд-
рей — ta nägu varjasid kiha-
rate salgud

Ч Е Л К А Ш

Потемнёвшее от пыли голубое южное небо — мутно; жаркое солнце смотрит в зеленоватое море, точно сквозь тонкую серую вуаль. Оно почти не отражается в воде, рассекаемой ударами вёсел, пароходных винтов, острыми килями турецких фелюг и других судов, бороздящих по всем направлениям тесную гавань. Закованные в гранит волны моря подавлены громадными тяжестями, скользкими по их хребтам, бьются о борты судов, о берега, бьются и ропщут, вспенённые, загрязнённые разным хламом.

Звон якорных цепей, грохот сцеплений вагонов, подвозящих груз, металлический вопль железных листов, откуда-то падающих на камень мостовой, глухой стук дерева, дребезжание извозчичьих телег, свистки пароходов, то пронзительно резкие, то глухо ревящие, крики грузчиков, матросов и таможенных солдат — все эти звуки сливаются в оглушительную музыку трудового дня

небо мутно — taevas on ähmjas

серая вуаль — hall loor

не отражается — ei peegeldu

рассекать — lõhestama

весло — aeg

пароходный винт — auriku kruvi

киль (м.) — laevakiil, andur

турецкая фелюга — türgi felukk (laev)

борозда — vagu

бороздить — vagusid kündma

гавань (ж.) — sadam

заковать — raudu panema, aheldama

хребет волны — laine hari

борт судна — laeva külg

роптать — nurisema

вспенённый — vahutav

загрязнённый хламом — rämp-suga reostatud

якорная цепь — ankrukett

грохот сцеплений вагонов — vangunite haakimise kolin

груз — laadung

металлический вопль — metalne valukisa, hala

мостовая — sillutis, sõidutee

дребезжание телег — vankrite põrin

извозчик — voormees

пронзительно резкий — läbilõikavalt terav, kile (hää)

грузчик — laadija

таможенный солдат — tollivalve-soldat

■, мятѣжно колыхаясь, стоят низко в небе над гаванью, — к ним вздымаются с земли всё новые и новые волны звуков — то глухие, рокочущие, они сурово сотрясают всё кругом, то резкие, гремящие, — рвут пыльный, знойный воздух.

Гранит, железо, дерево, мостовая гавани, суда и люди — всё дышит мощными звуками страстного гимна Меркурию.¹ Но голоса людей, еле слышные в нём, слабы и смешны. И сами люди, первоначально родившие этот шум, смешны и жалки: их фигурки, пыльные, оборванные, юркие, согнутые под тяжестью товаров, лежащих на их спинах, суетливо бегают то туда, то сюда в тучах пыли, в море зноя и звуков, они ничтожны по сравнению с окружающими их железными колёсами, гудами товаров, гремящими вагонами и всем, что они создали. Созданное ими поработило и обезличило их.

Стоя под парами, тяжёлые гиганты-пароходы свистят, шипят, глубоко вздыхают, и в каждом звуке, рождённом ими, чудится насмешливая нота презрения к серым, пыльным фигурам людей, ползавших по их палубам, наполняя глубокие трюмы продуктами своего рабского труда. До слёз смешны длинные вереницы грузчиков, несущих на плечах своих тысячи пудов хлеба в железные животы судов для того, чтобы заработать несколько фунтов того же хлеба для своего желудка. Рваные, потные, оступевшие от усталости, шума и зноя люди и могучие, блестявшие на солнце дородством машины, созданные этими людьми, — машины, которые в конце концов приводились в движение всё-таки не паром, а

мятѣжно колыхаясь — mässuliseit õõtsudes
рокочущий — kõmisev
знойный воздух — palav, leitsene õhk
жалкий — vilets, hale
юркий — vilgas
согнутый — küüru vajunud
суетливо = торопливо, беспокойно
ничтожный — väike, tühine
колосс = великан, гигант

поработить = превратить в раба
обезличить — isikupäratuks tegema
чудится насмешливая нота презрения — tundub pilkav põlastuse noot
трюм — laeva allruum
вереница — rodu, voor
фунт = 400 г — nael (end. raskusmõõt)
отупевший — nüristunud
дородство — tüsedus, massiivsus

¹ Меркурий — бог торговли у древних римлян.

мускулами и кровью своих творцов, — в этом сопоставлении была целая поэма жестокой иронии.

Шум — подавлял, пыль, раздражая ноздри, — слепила глаза, зной — пёк тело и изнурял его, и всё кругом — казалось напряжённым, теряющим терпение, готовым разразиться какой-то грандиозной катастрофой, взрывом, за которым в освежённом им воздухе будет дышаться свободно и легко, на земле воцарится тишина, а этот пыльный шум, оглушительный, раздражающий, доводящий до тоскливого бешенства, исчезнет, и тогда в городе, на море, в небе станет тихо, ясно, славно...

Раздалось двенадцать мерных и звонких ударов в колокол. Когда последний медный звук замер, дикая музыка труда уже звучала тише. Через минуту ещё она превратилась в глухой недовольный ропот. Теперь голоса людей и плеск моря стали слышней. Это — наступило время обеда.

I

Когда грузчики, бросив работать, рассыпались по гавани шумными группами, покупая себе у торговцев разную снедь и усаживаясь обедать тут же, на мостовой, в тенистых уголках, — появился Гришка Челкаш, старый травленный волк, хорошо знакомый гаванскому люду, заядлый пьяница и ловкий, смелый вор. Он был бос, в старых, вытертых плисовых штанах, без шапки, в грязной ситцевой рубашке с разорванным воротом, открывавшим его сухие и угловатые кости, обтянутые

творец = создатель (looja)
сопоставление — kõrvutamine
подавлять — masendama, gusutama
раздражать ноздри — ninasõõrmeid ärritama
слепить глаза — silmi pimestama
изнурять тело — keha kurnama
напряжённый — pinev
разразиться грандиозной катастрофой — prahvatama suurejooneliselt katastroofi
воцарится тишина — tekib vaikus
оглушительный шум — kõrvulükkustav kõra

доводящий до тоскливого бешенства — mis viib ahastava hulluseni
удар в колокол — kellalööks
снедь (ж.) = пища, еда (sõõgipoolis)
травленный волк — (jahil) rünnatud hunt
люди = народ
заядлый пьяница — kirglik jootar
бос = босой — palja jalu
плисовые штаны — plüüspüksid
ворот (рубашки) — (särgi) kaelus

коричневой кожей. По всклокóченным чёрным с прóседью волосам и смятому, остроуму, хищному лицу было видно, что он только что проснóлся. В одном бóром усе у него торчала солóмина, другая соломина запуталась в щетíне левой брiтой щеки, а за ухо он заткнóл себе маленькую, только что сорванную ветку липы. Длинный, костлявый, немного сутóлый, он медленно шагал по камням и, поводя своим горбáтым, хищным носом, кидал вокруг себя óстрые взгляды, поблёскивая холодными серыми глазами и высматривая кого-то среди грузчиков. Его бóрые усы, густые и длинные, то и дело вздрáгивали, как у котá, а залóженные за спину руки потирали одна другую, нервно перекручиваясь длинными, кривы́ми и цепкими пальцами. Даже и здесь, среди сóтен таких же, как он, резких босяцких фигур, он сразу обращал на себя внимание своим сходством с степным ястребом, своей хищной худобой и этой прицеливающейся походкой, пла́вной и покойной с виду, но внутренне возбуждённой и зóркой, как лёт той хищной птицы, которую он напоминал.

Когда он поравнялся с одной из групп босяков-грузчиков, расположившихся в тени под грудой корзин с углём, ему навстречу встал коренастый малый с глупым, в багрóвых пятах, лицом и поцарапанной шеей, должно быть, недавно избитый. Он встал и пошёл рядом с Челкашом, вполголоса говоря:

— Флотские двух мест мануфактуры хватились... Ищут.

всклокóченные с прóседью волосы — pulstunud hallisegused juuksed

смятое, хищное лицо — äramuljutud kiskjanägu

бóрый = серовато-коричневый

щетина — harjas

заткнóть за ухо — kõrva taha pistma

сутóлый — kõhmus turjaga

потирать руки — käsi hõõruma

перекручивать цепкими пальцами — sitkeid sõrmi üksteisest

лаби põimima

босяцкая фигура — pätikuju

сходство с степным ястребом —

sarnasus stepihaukaga

хищная худоба — kõõvloomakõhnus

прицеливающаяся походка — sihtiv kõnnak

пла́вный — sujuv

напоминать — meenutama

поравняться с группой — salga kohale jõudma

груда корзин — korvide virn

коренастый — rässakas, tüse

в багрóвых пятах — punaselai-guline (nägu)

избитый — läbi pekstud

хватились двух мест мануфактуры — leidsid kaks pakki

tekstiilkaupa puudu olevat

— Ну? — спросил Челкаш, спокойно смёрив его глазами.

— Чего — ну? Ищут, мол. Больше ничего.

— Меня, что ли, спрашивали, чтоб помог поискать?

И Челкаш с улыбкой посмотрел туда, где помещается пакгауз Добровольного флота.

— Пошёл к чорту!

Товарищ повернул назад.

— Эй, погоди! Кто это тебя изукрасил? Ишь как испортили вывеску-то... Мишку не видал здесь?

— Давно не видал! — крикнул тот, уходя к своим товарищам.

Челкаш шагал дальше, встречаемый всеми, как человек хорошо знакомый. Но он, всегда весёлый и ёдкий, был сегодня, очевидно, не в духе и отвечал на расспросы отрывисто и резко.

Откуда-то из-за бунта товара вывернулся таможенный сторож, темнозелёный, пыльный и воинственно-прямой. Он загородил дорогу Челкашу, встав перед ним в вызывающей позе, схватившись левой рукой за ручку кортика, а правой пытаясь взять Челкаша за ворот.

— Стой! Куда идёшь?

Челкаш отступил шаг назад, поднял глаза на сторожа и сухо улыбнулся.

Красное, добродушно хитрое лицо служивого пыталось изобразить грозную мину, для чего надулось, стало круглым, багровым, двигало бровями, тарщило глаза и было очень смешно.

— Сказано тебе — в гавань не смей ходить, рёбра изломаю! А ты опять? — грозно кричал сторож.

пакгауз (нем.) — laohoone
Добровольный флот — vabatahtlik

laevastik

изукрасить — ehtima

испортили вывеску — silt on ära rikutud

ёдкий — terav (iseloom)

очевидно — nähtavasti

не в духе — tujust ära

отвечал отрывисто и резко — vastas katkendlikult ning järsult

из-за бунта товара — kaubakot-tide kuhja tagant

загородить дорогу — teed sulgeta

в вызывающей позе — väljakutsuvas asendis

кортик — lühike mõök mereväelastel

служивый — kroonumees

грозная мина — ähvardav ilme

надулось — (nägu) läks pungi

тарщить глаза — silmi jõllitama

рёбра изломаю — murrap (su) ribid

— Здравствуй, Семёныч! мы с тобой давно не видались, — спокойно поздоровался Челкаш и протянул ему руку.

— Хотя бы век тебя не видеть! Иди, иди!..

Но Семёныч всё-таки пожал протянутую руку.

— Вот что скажи, — продолжал Челкаш, не выпуская из своих цепких пальцев руки Семёныча и приятельски-фамильярно потряхивая её, — ты Мишку не видал?

— Какого ещё Мишку? Никакого Мишки не знаю! Пошёл, брат, вон! а то пакгаузный увидит, он те...

— Рыжего, с которым я прошлый раз работал на «Костроме», — стоял на своём Челкаш.

— С которым воруюешь вместе, вот как скажи! В больницу его свезли, Мишку твоего, ногу отдалило чугунной штёкой. Поди, брат, пока честью просят, поди, а то в шею провожу!..

— Ага, ишь ты! а ты говоришь — не знаю Мишки... Знаешь, вот. Ты чего же такой сердитый, Семёныч?..

— Вот что, ты мне зубы не заговаривай, а иди!..

Сторож начал сердиться и, оглядываясь по сторонам, пытался вырвать свою руку из крепкой руки Челкаша. Челкаш спокойно посматривал на него из-под своих густых бровей и, не отпуская его руки, продолжал разговаривать:

— Ты не торопи меня. Я вот наговорюсь с тобой вдосталь и уйду. Ну, сказывай, как живёшь?.. жена, детки — здоровы? — И, сверкая глазами, он, оскáлив зубы насмешливой улыбкой, добавил: — В гости к тебе собираюсь, да всё времени нет — пью всё вот...

— Ну, ну, — ты это брось! Ты, — не шути, дьявол костлявый! Я, брат, в самом деле... Али ты уж по домам, по улицам грабить собираешься?

— Зачем? И здесь на наш с тобой век добра хватит. Ей-богу, хватит, Семёныч! Ты, слышь, опять два места

рыжий — riparea
ногу отдалило — muljus jala pu-
ruks
чугунная штёка — malmkang
заговаривать — posima, pöia-
sõnadega ravima
зубы заговаривать — kärbseid
pähe ajama

вдосталь = сколько надо (isu
täis)
оскáлить зубы — hambaid pal-
jastama
добáвить = прибавить (lisama)
добра́ хватит — jätkub varan
dust

мануфактуры слямзил?.. Смотри, Семёныч, осторожней! не попадись как-нибудь!

Возмущённый Семёныч затрясся, брызгая слюной и пытаясь что-то сказать. Челкаш отпустил его руку и спокойно зашагал длинными ногами назад к воротам гавани. Сторож, неистово ругаясь, двинулся за ним.

Челкаш повеселел; он тихо посвистывал сквозь зубы и, засунув руки в карманы штанов, шёл медленно, отпуская направо и налево колкие смешки и шутки. Ему платили тем же.

— Ишь ты, Гришка, начальство-то как тебя оберегает! — крикнул кто-то из толпы грузчиков, уже пообедавших и валявшихся на земле, отдыхая.

— Я — босый, так вот Семёныч следит, как бы мне ногу не напороть, — ответил Челкаш.

Подшли к воротам. Два солдата ощупали Челкаша и лёгонько вытолкнули его на улицу.

Челкаш перешёл через дорогу и сел на тумбочку против дверей кабака. Из ворот гавани с грохотом выезжала вереница нагруженных телег. Навстречу им неслись порожние телеги с извозчиками, подпрыгивавшими на них. Гавань изрыгала вьющий гром и ёдкую пыль.

В этой бешеной суетлоке Челкаш чувствовал себя прекрасно. Впереди ему улыбался солидный заработок, требуя немного труда и много ловкости. Он был уверен, что ловкости хватит у него и, шуря глаза, мечтал о том, как загуляет завтра поутру, когда в его кармане явятся кредитные бумажки... Вспомнился товарищ Мишка, — он очень пригодился бы сегодня ночью, если бы не сломал себе ногу. Челкаш про себя обругался, думая, что

слямзил (простонар.) — (oled)
sisse vehkinud
не попадись — ära kuku sisse
возмущённый — raevunud
брызгая слюной — (suust) sül-
ge pritsides
пытаясь сказать — püüdes üteldä
неистово ругаясь — tulise viha-
ga sõimates
колкая шутка — torkav nali
напороть — (jalga) orgi otsa
torkama, vigastama
ощупать — läbi kobama

тумба, тумбочка — postike
против кабака — kõrtsi vastas
вереница — rodu, voor
порожние (телеги) = пустые
изрыгать — välja sülgama
бешеня суетлока — põõrane
tunglemine
много ловкости — palju osavust
шурить глазами — silmi vidutama
как загуляет завтра — kuidas ta
hakkab homme pummeldama
пригодился бы — oleks väga
tarvis läinud

одному, без Мишки, пожалуй, и не справиться с делом. Каковá-то будет ночь?.. Он посмотрел на небо и вдоль по улице.

Шагах в шести от него, у тротуáра, на мостовóй, при-слонясь спиной к тóмбочке, сидел молодой пáрень в синей пестрядíнной рубахе, в таких же штанах, в лаптях и в обóрванном рýжем картузé. Около него лежала маленькая котóмка и косá без черенкá, обéрнутая в жгут из солóмы, аккуратно перекрученый верёвочкой. Парень был широкоплéч, коренáст, рýсый, с загорелым и об-вётренным лицом и с большими голубыми глазами, смотревшими на Челкаша довёрчиво и добродушно.

Челкаш оскáлил зубы, вы́сунул язык и, сделав страшную рóжу, уставился на него вы́тарашенными глазами.

Пáрень, сначала недоумевáя, смигну́л, но потом вдруг расхохотался, крикнул сквозь смех: «Ах, чудáк!» — и, почти не вставая с земли, неуклюже перевалился от своей тумбочки к тумбочке Челкаша, волоча свою котóмку по пыли и посту́кивая пýткой косы́ о камни.

— Что, брат, погулял, видно, здорово!.. — обратился он к Челкашу, дёрнув его штанину.

— Было дело, сосунок, было этакое дело! — улыбаясь, созна́лся Челкаш. Ему сразу понравился этот здоровый, добродушный пáрень с ребячьими светлыми глазами. — С косови́цы, что ли?

— Как же!.. Косили версту́ — вы́косили грош. Плохи дела-то! Нар-роду — у́йма! Голодающий этот самый приплéлся, — цéну сбили, хоть не берись! Шесть гривен

пестрядíнная (рубаха) = из
грубой бумажной ткани с
разноцветными нитками
в рýжем картузé — ruske pokk-
mütsiga
котóмка — kompsuke
косá без черенкá — vikat ilma
löeta
жгут солóмы — õlgpalmik
обвётренное лицо — tuule käes
karedaks muutunud nägu
сделал страшную рóжу — tegi
hirmsa lõusta
устáвиться — (kedagi) üksisilmi
vahtima jääma
недоумевáя, смигну́л — pilgutas
kõheldes silma

ах, чудáк! — oh sind veidrikult
неуклюже перевалился — ka-
kerdas kohmakalt
волочить котóмку — kompsu-
kest lohistama
пýтка косы́ — vikati kand
штани́на — püksisäär
сосунок (уменьш.) = сосу́н —
imik, «tissimokk»
созна́ться — tunnistama
с косови́цы — niitmast
народу — у́йма — rahvast mur-
du
приплéлся — on end kokku aja-
nud

в Кубани платили. Дела!.. А раньше-то, говорят, три целковых цена, четыре, пять!..

— Раньше!.. Раньше-то за одно поглядёнье на русского человека там трёшну платили. Я вот годов десять тому назад этим самым и промышлял. Придёшь в станицу — русский, мол, я! — Сейчас тебя поглядят, пощупают, подивуются и — получи три рубля! Да напоят, накормят. И живи сколько хочешь!

Парень, слушая Челкаша, сначала широко открыл рот, выражая на круглой физиономии недоумевающее восхищение, но потом, поняв, что оборванец врёт, шлёпнул губами и захохотал. Челкаш сохранял серьёзную мину, скрывая улыбку в своих усах.

— Чудак, говоришь будто правду, а я слушаю да верю... Нет, ей-богу, раньше там...

— Ну, а я про что? Ведь и я говорю, что, мол, там раньше...

— Поди ты!.. — махнул рукой парень. — Сапобжник, что ли? Али портной?.. Ты-то?

— Я-то? — переспросил Челкаш и, подумав, сказал: — Рыбак я...

— Рыба-ак! Ишь ты! Что же, ловишь рыбу?..

— Зачем рыбу? Здешние рыбаки не одну рыбу ловят. Больше утопленников, старые якоря, потонувшие суды — всё! Удочки такие есть для этого...

— Ври, ври!.. Из тех, может, рыбаков, которые про себя поют:

Мы закидываем сѣти
По сухим берегам
Да по амбарам, по клетям!..

— А ты видал таких? — спросил Челкаш, с усмешкой поглядывая на него.

— Нет, видать где же! Слыхал...

— Нравятся?

целковый = рубль

трёшна = три рубля

промышлять — ametit pidama

недоумевающее восхищение —
hämmastunud vaimustus

оборванец врёт — pätt valetab

шлёпнул губами — matsutas
huuli

серьёзная мина — tõsine näo-
ilme

портной — rätsep

утопленник — uppunu

якорь (м.) — ankur

амбар и клеть (ж.) — ait ja
sahver

с усмешкой — muigega

— Они-то? Как же!.. Ничего ребята, вольные, свободные...

— А что тебе — свобода?.. Ты разве любишь свободу?

— Да ведь как же? Сам себе хозяин, пошёл — куда хошь, делай — что хошь... Ещё бы! Коли сумеешь себя в порядке держать, да на шее у тебя камней нет, — первое дело! Гуляй знай, как хошь, бѣга только помни...

Челкаш презрительно сплюнул и отвернулся от парня.

— Сейчас вот моё дело... — говорил тот. — Отец у меня умер, хозяйство — малое, мать старуха, земля вы́сосана, — что я должен делать? Жить — надо. А как? Неизвестно. Пойду я в зятѣя в хороший дом. Ладно. Кабы вы́делили дочь-то!.. Нет ведь — тѣсть-дьявол не выделит. Ну, и буду я ломать на него... долго... Годá! Вишь, какие дела-то! А кабы мне рублей ста полтора зарѣбить, сейчас бы я на ноги встал и — Антипу-то — на́кося, выкуси! Хошь выделитъ Марфу? Нет? Не надо! Слава богу, девок в деревне не одна она. И был бы я, значит, совсем свободен, сам по себе... Н-да! -- Парень вздохнул. — А теперь ничего не поделаешь иначе, как в зятѣя идти. Думал было я: вот, мол, на Кубань-то пойду, рублей два ста тѣпну, — шабаш! барин!.. Ан не вы́горело. Ну и пойдѣшь в батраки... Своим хозяйством не исправлюсь я, ни в каком разе! Эхе-хе!..

Парню сильно не хотелось идти в зятѣя. У него даже лицо печально потускнѣло. Он тяжело заёрзал на земле.

Челкаш спросил:

— Теперь куда ж ты?

— Да ведь — куда? известно, домой.

— Ну, брат, мне это неизвестно, может, ты в Түрцию собрался...

— В Ту-урцию!.. — протянул парень. — Кто ж это туда ходит из православных? Сказал тоже!

— Экой ты дурак! — вздохнул Челкаш и снова отворо-

куда хошь = куда хочешь
презрительно сплюнул — sülgas
põlglikult

земля вы́сосана — maа on lahja
пойду в зятѣя — lähen väimeheks
вы́делить дочь — tütre osa eral-
dama

тѣсть-дьявол — äi, kurat
зарѣбить (укр.) = заработать

на́кося, выкуси! — pühi suu puh-
taks!

не вы́горело = ничего не вышло
батра́к — moonakas

лицѣ потускнѣло — nägu tuhmus
тяжело заёрзал — hakkas ras-
kesti nihelema

православный — õigeusklik

тился от собеседника. В нём этот здоровый деревёнский парень что-то будил...

Смúтное, медленно назревавшее, доса́дливое чувство копошилось где-то глубоко и мешало ему сосредото́читься и обдумать то, что нужно было сделать в эту ночь.

Обру́ганный парень бормотал что-то вполгóлоса, изредка бросая на босякá косые взгляды. У него смешно надулись щёки, оттопырились губы и суженные глаза как-то чересчур часто и смешно помаргивали. Он, очевидно, не ожидал, что его разговор с этим усатым оборванцем кончится так быстро и обидно.

Оборванец не обращал больше на него внимания. Он задумчиво посвистывал, сидя на тумбочке и отбивая по ней такт го́лой, грязной пята́кой.

Парню хотелось поквитаться с ним.

— Эй ты, рыбак! Часто это ты запиваешь-то? — начал было он, но в этот момент рыбак быстро обернул к нему лицо, спросив его:

— Слушай, сосун! Хочешь сегодня ночью работать со мной? Говори скорей!

— Чего работать? — недоверчиво спросил парень.

— Ну, чего!.. Чего заставлю... Рыбу ловить поедем. Грести будешь...

— Так... Что же? Ничего. Работать можно. Только вот... не влететь бы во что с тобой. Больно ты закому́рист... те́мен ты...

Челкаш почувствовал нечто вроде ожо́га в груди и с холодной злобой вполгóлоса проговорил:

— А ты не болтай, чего не смыслишь. Я те вот долбану́ по башке́, тогда у тебя в ней просветлеет...

Он соскочил с тумбочки, дернул левой рукой свой ус,

назрева́ть — kúpsema
доса́дливое чу́ство — meele-
härm, tusatunne
копоши́лось = *здесь*: волновало
с сосредото́читься — mõtteid kes-
kendama
изредка — aeg-ajalt
губы оттопы́рились — huuled
olid torgu läinud
суженные глаза часто помарги-
вали — pilutatud silmad pil-
gutlesid

чересчу́р = слишком (часто)
го́лая пята́ка — paljas jalakand
поквита́ться — arveid tasa te-
gema
грести (гребу́, гребёшь) — sõud-
ma
больно закому́рист — väga veid-
gavõitu (kaval)
ожо́г — põletushaav
долбану́ по башке — kopsan
(sulle) kolu pihta

а правую сжал в твёрдый, жилистый кулак и заблестёл глазами.

Парень испугался. Он быстро оглянулся вокруг и, робко моргая, тоже вскочил с земли. Меря друг друга глазами, они молчали.

— Ну? — сурово спросил Челкаш. Он кипел и вздрагивал от оскорбления, нанесённого ему этим молоденьким телёнком, которого он во время разговора с ним презирал, а теперь сразу возненавидел за то, что у него такие чистые голубые глаза, здоровое загорелое лицо, короткие крепкие руки, за то, что он имеет где-то там деревню, дом в ней, за то, что его приглашает в зятья зажиточный мужик, — за всю его жизнь прошлую и будущую, а больше всего за то, что он, этот ребёнок по сравнению с ним, Челкашом, смеет любить свободу, которой не знает цены и которая ему не нужна. Всегда неприятно видеть, что человек, которого ты считаешь хуже и ниже себя, любит или ненавидит то же, что и ты, и, таким образом, становится похож на тебя.

Парень смотрел на Челкаша и чувствовал в нём хозяина.

— Ведь я... не прочь... — заговорил он. — Работы ведь и ищу. Мне всё равно, у кого работать, у тебя или у другого. Я только к тому сказал, что не похож ты на рабочего человека, — больно уж тово... дранный. Ну, я ведь знаю, что это со всяким может быть. Господи, рази я не видел пьяниц! Эх, сколько!.. да ещё и не таких, как ты.

— Ну, ладно, ладно! Согласен? — уже мягче переспросил Челкаш.

— Я-то? Айда!.. с моим удовольствием! Говори цену.

— Ценá у меня по работе. Какая работа будет. Какой улов, значит... Пятитку можешь получить. Понял?

Но теперь дело касалось денег, а тут крестьянин хотел быть точным и требовал той же точности от нанимателя. У парня вновь вспыхнуло недоверие и подозрительность.

робко моргая — aralt silmi pilgutades

оскорбление — solvang

презирать — põlgama

ненавидеть — vihkama

зажиточный — jõukas

я... не прочь = я не против

дранный — närudes

рази = разве

какой улов — missugune püük

пятитка = пять рублей

наниматель (м.) — palkaja

недоверие и подозрительность

(ж.) — umbusaldus ja kahtlus

— Это мне не рука, брат!

Челкаш вошёл в роль:

— Не толкуй, погоди! Идём в трактир!

И они пошли по улице рядом друг с другом. Челкаш — с важной мѣной хозяина, покручивая усы, парень — с выражением полной готовности подчиниться, но всё-таки полный недоверия и боязни.

— А как тебя звать? — спросил Челкаш.

— Гаврилом! — ответил парень.

Когда они пришли в грязный и закопѣлый трактир, Челкаш, подойдя к буфету, фамильярным тоном заведывая заказал бутылку водки, шей, поджарку из мяса, чаю и, перечислив требуемое, коротко бросил буфетчику: «В долг всё!», на что буфетчик молча кивнул головой. Тут Гаврила сразу преисполнился уважением к своему хозяину, который, несмотря на свой вид жулика, пользуется такой известностью и доверием.

— Ну, вот мы теперь закусим и поговорим толком. Пока ты посиди, а я схожу кое-куда.

Он ушёл. Гаврила осмотрелся кругом. Трактир помещался в подвале; в нём было сыро, темно и весь он был полон удушливым запахом перегорелой водки, табачного дыма, смолы и ещё чего-то острого. Против Гаврилы, за другим столом, сидел пьяный человек в матросском костюме, с рыжей бородой, весь в угольной пыли и смолѣ. Он урчал, поминутно икая, песню, всю из каких-то перевернутых и изломанных слов, то страшно шипящих, то гортанных. Он был, очевидно, не русский.

Сзади его поместились две молдаванки; оборванные, черноволосые, загорелые, они тоже скрипели песню пьяными голосами.

Потом из тьмы выступали ещё разные фигуры, все

с важной мѣной — tähtsa ilmega
подчиниться — alistuma
закопѣлый трактир — suitsunud
kõrts
завсегдѣтай — alatine küllastaja
поджарка = кушанье из поджаренного (praetud roog)
преисполнился уважением —
täitus lugupidamisest
вид жулика — sulivälimus
закусить — suhupistet võtma
в подвале — keldrikorrusel

удушливый запах — lämmatav
lehk
смола — tõrv, vaik
урчал песню — urises laulu
поминутно икая — alatasa luk-
sudes
перевернуть — moonutama (sõnu)
гортанный звук — kurguhäälik
скрипеть песню — laulda kägi-
sema
пьяный голос — joobnud hääl

странно растрёпанные, все полупьяные, крикливые, беспокойные . . .

Гавриле стало жутко. Ему захотелось, чтобы хозяин воротился скорее. Шум в трактире сливался в одну ноту, и казалось, что это рычит какое-то огромное животное, оно, обладая сотней разнообразных голосов, раздражённо, слепо рвётся вон из этой каменной ямы и не находит выхода на волю . . . Гаврила чувствовал, как в его тело всасывается что-то опьяняющее и тягостное, от чего у него кружилась голова и туманились глаза, любопытно и со страхом бегавшие по трактиру . . .

Пришёл Челкаш, и они стали есть и пить, разговаривая. С третьей рюмки Гаврила опьянел. Ему стало весело и хотелось сказать что-нибудь приятное своему хозяину, который — славный человек! — так вкусно угостил его. Но слова, целыми волнами подливавшиеся ему к горлу, почему-то не сходили с языка, вдруг отяжелёвшего.

Челкаш смотрел на него и, насмешливо улыбаясь, говорил:

— Наклюкался!.. Э-эх, тюря! с пяти рюмок!.. как работать-то будешь?..

— Друг!.. — лепетал Гаврила. — Не бойсь! Я тебе уважу!.. Дай поцелую тебя!.. а?..

— Ну, ну!.. На, ещё клюкни!

Гаврила пил и дошёл, наконец, до того, что у него в глазах всё стало колебаться ровными, волнообразными движениями. Это было неприятно и от этого тошнило. Лицо у него сделалось глупо восторженное. Пытаясь сказать что-нибудь, он смешно шлёпал губами и мычал.

растрёпанный — *sagrine, sasitas*

стало жутко — *hakkas jube*

рычать — *lõrisema*

обладать — *omama*

голос — *hää*

всасываться — *imbuma*

опьяняющее — *uimastav*

тягостное — *gõhuv*

голова кружится — *pea käib ümber*

насмешливо улыбаться — *pilka-valt naeratama*

наклюкался (*простонар.*) = на-
пился

тюря — *kaljarudi, siin: loid ini-
mene*

лепетать — *lalisema*

колебаться — *kõikuma, hõljuma*

ровные движения — *ühtlased lii-
gutused*

тошнило — *pani südame põõri-
tama*

пытаясь сказать — *püüdes ütelda*

мычать — *ammuma; siin: mõmi-
sema*

Челкаш, пристально поглядывая на него, точно вспоминал что-то, крутил свои усы и всё улыбался хмуро.

А трактир ревел пьяным шумом. Рыжий матрос спал, облокотясь на стол.

— Ну-ка, идём, — сказал Челкаш, вставая.

Гаврила попробовал подняться, но не смог и, крепко обругавшись, засмеялся бессмысленным смехом пьяного.

— Развезло! — молвил Челкаш, снова усаживаясь против него на стул.

Гаврила всё хохотал, тупыми глазами поглядывая на хозяина. И тот смотрел на него пристально, зорко и задумчиво. Он видел перед собою человека, жизнь которого попала в его волчьи лапы. Он, Челкаш, чувствовал себя в силе повернуть её и так и этак. Он мог разломать её, как игральную карту, и мог помочь ей установиться в прочные крестьянские рамки. Чувствуя себя господином другого, он думал о том, что этот парень никогда не изопьёт такой чаши, какую судьба дала испытать ему, Челкашу... И он завидовал и сожалел об этой молодой жизни, подсмевался над ней и даже огорчался за неё, представляя, что она может ещё раз попасть в такие руки, как его... И все чувства в конце концов слились у Челкаша в одно — нечто отеческое и хозяйственное. Мало было жалко, и малый был нужен. Тогда Челкаш взял Гаврилу подмышки и, легонько толкая его сзади коленом, вывел на двор трактира, где сложил на землю в тень от полённицы дров, а сам сел около него и закурил трубку. Гаврила немного повозился, помычал и заснул.

II

— Ну, готов? — вполголоса спросил Челкаш у Гаврилы, возившегося с вёслами.

пристально — ainiti (vaatama)
улыбался хмуро — naeratas süngelt

локоть (м.) — küünarnukk

облокотяться на стол — küünarnukke lauale toetades

развезло! — poiss on pehme!

зорко — teraselt

установиться в рамки — gaamidesse asetuda

завидовать — kadestama

огорчаться — kurvastama

взял его подмышки — võttis tal kaenla alt kinni

полённица дров — puuriit

повозился немного — vähkres natuke

— Сейчас! Уключина вот шатается, — можно разок вдарить веслом?

— Ни-ни! Никакого шума! Надави её руками крепче, она и войдёт себе на место.

Оба они тихо возылись с лодкой, привязанной к корме одной из целой флотилии парусных барок, нагруженных дубовой клепкой, и больших турецких фелюг, занятых пальмой, сандалом и толстыми кряжами кипариса.

Ночь была тёмная, по небу двигались толстые пласты лохматых туч, море было спокойно, чёрно и густо, как масло. Оно дышало влажным, солёным ароматом и ласково звучало, плескаясь о борты судов, о берег, чуть-чуть покачивая лодку Челкаша. На далёкое пространство от берега с моря подымались тёмные остовы судов, вонзая в небо острые мачты с разноцветными фонарями на вершинах. Море отражало огни фонарей и было усыяно массой жёлтых пятен. Они красиво трепетали на его бархате, мягком, матово-чёрном. Море спало здоровым, крепким сном работника, который сильно устал за день.

— Едем! — сказал Гаврила, спуская вёсла в воду.

— Есть! — Челкаш сильным ударом руля вытолкнул лодку в полосу воды между барками, она быстро поплыла по скользкой воде, и вода под ударами весел загоралась голубоватым фосфорическим сиянием, — длинная лента его, мягко сверкая, вилась за кормой.

— Ну, что голова? болит? — ласково спросил Челкаш.

уключина — (paadi) tull
возыться — askeldama
к корме парусной барки — purjelodja pära külge
нагрузить — täis laadima
дубовые клепки — tammised tünnilauad
пальмой и сандалом — palmipuudu ja sandliga
кряжами кипариса — küpressipakkudega
лохматые тучи — sagrised pilved
густо как масло — paks pagu õli
плескаясь о борты судов — loksudes vastu laevade külgi

на далёкое пространство от берега — hulga maa peal kaldast
остовы судов — laevakered
вонзая в небо — torgates taevasse
острые мачты — teravad mastid
море отражало огни — meri peegeldas tulesid
мягкий бархат — pehme samet
ударом руля — tüirilöögiga
по скользкой воде — mööda libedat vett
под ударами весел — aerulöökide all
лента ... вилась за кормой — pael lookles pära taga

— Стрась!.. как чугун гудит... Намочу её водой сейчас.

— Зачем? Ты, на-ко вот, нутро помочи, может, скорее очухаешься, — и он протянул Гавриле бутылку.

— Ой-ли? Господи благослови!..

Послышалось тихое бульканье.

— Эй ты! рад?.. будет! — остановил его Челкаш.

Лодка помчалась снова, бесшумно и легко вертясь среди судов... Вдруг она вырвалась из их толпы, и море — бесконечное, могучее, — развернулось перед ними, уходя в синюю даль, где из вод его вздымались в небо горы облаков — лилово-сизых, с желтыми пуховыми каймами по краям, зеленоватых, цвета морской воды, и тех скучных, свинцовых туч, что бросают от себя такие тоскливые, тяжёлые тени. Облака ползли медленно, то сливаясь, то обгоняя друг друга, мешали свои цвета и формы, поглощая сами себя и вновь возникая в новых очертаниях, величественные и угрюмые... Что-то роковое было в этом медленном движении бездушных масс. Казалось, что там, на краю моря, их бесконечно много и они всегда будут так равнодушно вползать на небо, задавшись злой целью не позволять ему никогда больше блестя над сонным морем миллионами своих золотых очей — разноцветных звёзд, живых и мечтательно сияющих, возбуждая высокие желания в людях, которым дорог их чистый блеск.

— Хорошо море? — спросил Челкаш.

страсть!... (простонар.) =

страшно

как чу.ун гудит — kōmiseb pagu
malm

нутро (простонар.) — sisemus,
sisi kond

намочить — niisutama

очухаться (простонар.) — toi-
buta

вырваться — välja sõõstma

сизый — sinkjashall

с пуховыми каймами — udu-
sulgsete äärtega

свинцовые тучи — tinahallid pil-
ved

ползли медленно — roomasid
aeglaselt

мешали свой цветá — segasid
oma värve

поглощая сами себя — iseendid
neelates

вновь возникая — uuesti tekki-
des

очертания — piirjood

угрюмый — sünge

что-то роковое — midagi kurja-
kuulutavat

бездушные массы — elutud mas-
sid

равнодушно — ükskõikselt

злой целью — kurja eesmärgiga,
kurja kavatsusega

мечтательно сияющие — unista-
valt helkivad

возбуждая высокие желания —
äratades ülevaid soove

— Ничего! Только бо́язно в нём, — ответил Гаврила, ровно и сильно ударяя вёслами по воде. Вода чуть слышно звенела и плескалась под ударами длинных вёсел и всё блестела тёплым голубым светом фосфора.

— Бо́язно! Экая дура!.. — насмешливо проворчал Челкаш.

Он, вор, любил море. Его кипучая нервная натура, жадная на впечатления, никогда не пресыщалась созерцанием этой тёмной широты, бескрайной, свободной и мощной. И ему было обидно слышать такой ответ на вопрос о красоте того, что он любил. Сидя на корме, он резал рулём воду и смотрел вперёд спокойно, полный желания ехать долго и далеко по этой бархатной глади.

На море в нём всегда поднималось широкое, тёплое чувство, — охватывая всю его душу, оно немного очищало её от житейской скверны. Он ценил это и любил видеть себя лучшим тут, среди воды и воздуха, где думы о жизни и сама жизнь всегда теряют — первые — остроту, вторая — цену. По ночам над морем плавно носится мягкий шум его сонного дыхания, этот необъятный звук вливает в душу человека спокойствие и, ласково укрощая её злые порывы, родит в ней могучие мечты...

— А снасть-то где? — вдруг спросил Гаврила, спокойно оглядывая лодку.

Челкаш вздрогнул.

— Снасть? Она у меня на корме.

Но ему стало обидно лгать пред этим мальчишкой, и ему было жаль тех дум и чувств, которые уничтожил этот парень своим вопросом. Он рассердился. Знакомое ему острое жжение в груди и у горла передёрнуло его, он внушительно и жёстко сказал Гавриле:

— Ты вот что, — сидишь, ну и сиди! А не в своё дело носа не суй. Наняли тебя грести, и гребь. А коли будешь языком трепать, будет плохо. Понял?..

бо́язно = страшно (kõhe)
его кипучая натура — tema kee-
vavereline loomus
впечатление — mulje
пресыщаться созерцанием — kül-
lastuma vaatlemisest
обидно — solvav
от житейской скверны — elu
mustusest
необъятный шум — ääretu kohin

укрощая её злые порывы — talt-
sutades ta õelaid tunge
снасть (ж.) — püügiistad
острое жжение — terav kõrvetus
внушительно и жёстко — mõju-
kalt ja karmilt
не суй носа — ära topi nina
наняли грести — on palgatud
sõudma

На минуту лодка дрогнула и остановилась. Вёсла остались в воде, вспенивая её, и Гаврила беспокойно завозился на скамье.

— Гребі!

Резкое ругательство потрясло воздух. Гаврила взмахнул вёслами. Лодка точно испугалась и пошла быстрыми, нервными толчками, с шумом разрезая воду.

— Ровнѣй!..

Челкаш привстал с кормы, не выпуская весла из рук и воткнув свои холодные глаза в бледное лицо Гаврилы. Изогнувшийся, наклоняясь вперёд, он походил на кошку, готовую прыгнуть. Слышно было злое скрипение зубов и робкое пощёлкивание какими-то костяшками.

— Кто кричит? — раздался с моря суровый окрик.

— Ну, дьявол, гребі же!.. тише!.. убью, собаку!.. Ну же, гребі!.. Раз, два! Пикни только!.. Р-разорву!.. — шипел Челкаш.

— Богородице... дево... — шептал Гаврила, дрожа и изнемогая от страха и усилий.

Лодка плавно повернулась и пошла назад к гавани, где огни фонарей столпились в разноцветную группу и видны были стволы мачт.

— Эй! кто орёт? — донеслось снова.

Теперь голос был дальше, чем в первый раз. Челкаш успокоился.

— Сам ты и орёшь! — сказал он по направлению криков и затем обратился к Гавриле, всё ещё шептавшему молитву:

— Ну, брат, счастье твоё! Кабы эти дьяволы погнались за нами — конец тебе. Чуешь? Я бы тебя сразу — к рыбам!..

Теперь, когда Челкаш говорил спокойно и даже добродушно, Гаврила, всё ещё дрожащий от страха, взмолился:

вспенивая воду — vett vahule
ajades

ровнѣй — ühtlasemalt

злое скрипение зубов — tige
hammaste krigin

робкое пощёлкивание — arglik
klõbistamine

пикни только! — katsu sa häält
teha

богородице дево (слав.) — püha
neitsi jumalaema

изнемогая от страха — olles hir-
must nõrkemas

стволы мачт — mastide tüved

кто орёт? — kes lõugab?

шептать молитву — palvet so-
sistama

счастье твоё — sinu õnn

взмолился — hakkas anuma

— Слушай, отпусти ты меня! Христом прошу, отпусти! Вьсади куда-нибудь! Ай-ай-ай!.. Про-опал я совсем!.. Ну, вспомни бога, отпусти! Что я тебе? Не могу я этого!.. Не бывал я в таких делах... Первый раз... Господи! Пропаду ведь я! Как ты это, брат, обошёл меня? а? Грешно тебе!.. Душу ведь губишь!.. Ну, дела-а...

— Какие дела? — сурово спросил Челкаш. — А? Ну, какие дела?

Его забавлял страх парня, и он наслаждался и страхом Гаврилы и тем, что вот какой он, Челкаш, грозный человек.

— Тёмные дела, брат!.. Пусты для бога!.. Что я тебе?.. а?.. Милый...

— Ну, молчи! Не нужен был бы, так я тебя не брал бы. Понял? — ну и молчи!

— Господи! — вздохнул Гаврила.

— Ну-ну!.. куксись у меня! — оборвал его Челкаш.

Но Гаврила теперь уже не мог удержаться и, тихо всхлипывая, плакал, сморкался, ёрзал по лавке, но грёб сильно, отчаянно. Лодка мчалась стрелой. Снова на дороге встали тёмные корпусá судов, и лодка потерялась в них, волчком вертяться в узких полосах воды между бортами.

— Эй ты! слушай! Буде спросит кто о чём — молчи, коли жив быть хочешь! Понял?

— Эхма!.. — безнадёжно вздохнул Гаврила в ответ на суровое приказание и горько добавил: — Судьбина моя пропащая!..

— Не ной! — внушительно шепнул Челкаш.

Гаврила от этого шопота потерял способность соображать что-либо и помертвел, охваченный холодным пред-

вьсади куда-нибудь — pane kus-
kil kaldale

как ты обошёл меня? — kuidas
sa vedasid mind sisse?

душу губишь — hinge hukutad
наслаждался — nautis, tundis
mõnu

кукситься — põnitsema, tusane
olema

тихо всхлипывать — tasa nuuk-
suma

сморкаться — pına nuuskama

грёб отчаянно — sõudis meele-
heitlikult

корпусá судов — laevade kered
волчком вертяться — vurrina kee-
reldes

не ной! — ära virise
способность соображать — võime
mõtelda

охваченный предчувствием беды
— haaratuna õnnetuse eelaimu-
sest

чувствием беды. Он машинально опускал вёсла в воду, откидывался назад, вынимал их, бросал снова и всё время упорно смотрел на свои лапти.

Сонный шум волн гудёл угрюмо и был страшен. Вот гавань... За её гранитной стеной слышались людские голоса, плеск воды, песня и тонкие свистки.

— Стой! — шепнул Челкаш. — Бросай вёсла! Упирайся руками в стену! Тише, чорт!..

Гаврила, цепляясь руками за скользкий камень, повёл лодку вдоль стены. Лодка двигалась без шороха, скользя бортом по нарощей на камне слизи.

— Стой!.. Дай вёсла! Дай сюда! А паспорт у тебя где? В котомке? Дай котомку! Ну, давай скорей! Это, мил друг, для того, чтобы ты не удрал... Теперь не удерёшь. Без вёсел-то ты бы кое-как мог удрать, а без паспорта побоишься. Жди! Да смотри, коли ты пикнешь — на дне моря найду!..

И вдруг, уцепившись за что-то руками, Челкаш поднялся на воздух и исчез на стене.

Гаврила вздрогнул... Это вышло так быстро. Он почувствовал, как с него сваливается, сползает та проклятая тяжесть и страх, который он чувствовал при этом усатом, худом воре... Бежать теперь!.. И он, свободно вздохнув, оглянулся кругом. Слева возвышался чёрный корпус без мачт, — какой-то огромный гроб, безлюдный и пустой... Каждый удар волны в его бока родил в нём глухое, гулкое эхо, похожее на тяжёлый вздох. Справа над водой тянулась сырая каменная стена мёла, как холодная, тяжёлая змея. Сзади виднелись тоже какие-то чёрные остовы, а спереди, в отверстие между стеной и бортом этого гроба, видно было море, молчаливое, пустынное, с чёрными над ним тучами. Они медленно двигались, огромные, тяжёлые, источая из тьмы ужас и готовые раздавить человека тяжестью своей. Все

лапоть (м.) — viisk
упирайся руками в стену — toetu
kätega vastu müüri
тише, чорт! — tasemini, kurat!
скользкий камень — libe kivi
слизь (ж) — lima
чтобы ты не удрал — et sa jalga
ei laseks
сваливается тяжесть — gaskus
langeb maha

худой — siin: kõhn, kõhetu
огромный гроб — tohutu puusärk
родил глухое, гулкое эхо — te-
kitas tumedat kõmisevat kaja
каменная стена мёла — muuli ki-
visein
источать ужас — õudust nõrjutas-
des
раздавить — puruks muljuma

было холодно, чёрно, зловеще. Гавриле стало страшно. Этот страх был хуже страха, навёянного на него Челкашом; он охватил грудь Гаврилы крепким объятием, сжал его в робкий комок и приковал к скамье лодки...

А кругом всё молчало. Ни звука, кроме вздохов моря. Тучи ползли по небу так же медленно и скучно, как раньше, но их всё больше вздымалось из моря, и можно было, глядя на небо, думать, что и оно тоже море, только море взволнованное и опрокинутое над другим, сонным, покойным и гладким. Тучи походили на волны, ринувшиеся на землю вниз кудрявыми седыми хребтами, и на пропасти, из которых вырваны эти волны ветром, и на зарождавшиеся валы, ещё не покрытые зеленоватой пеной бешенства и гнева.

Гаврила чувствовал себя раздавленным этой мрачной тишиной и красотой и чувствовал, что он хочет видеть скорее хозяина. А если он там останется?.. Время шло медленно, медленнее, чем ползли тучи по небу... И тишина, от времени, становилась всё зловещей... Но вот за стеной мола послышался плеск, шорох и что-то похожее на шопот. Гавриле показалось, что он сейчас умрёт...

— Эй! Спишь? Держи!.. осторожно!.. — раздался глухой голос Челкаша.

Со стены спускалось что-то кубическое и тяжёлое. Гаврила принял это в лодку. Спустилось ещё одно такое же. Затем поперёк стены вытянулась длинная фигура Челкаша, откуда-то явились вёсла, к ногам Гаврилы упала его котомка, и тяжело дышавший Челкаш уселся на корме.

Гаврила радостно и робко улыбался, глядя на него.

— Устал? — спросил он.

— Не без того, теля! Ну-ка, гребни добре! Дуй во всю силу! Хорошо ты, брат, заработал! Полдела сделали.

зловещий — pahaendeline
навёять — sisendama
крепким объятием — tugeva
haardega, embusega
в робкий комок — araks tombuks
приковать — aheldama
опрокинутое море — kummutatud
meri
походили = были похожи —
(sarnanesid)

ринуться — sööstma
кудрявые хребты — käharad mäe-
harjad
зарождавшиеся валы — tekkimi-
selolevad (laine)vallid
раздался голос = послышался
голос
вытянуться — sirutuma
гребни добре (укр.) — sõua hästi
kõvasti

Теперь только у чертёй между глаз проплыть, а там — получай денежки и ступай к своей Машке. Машка-то есть у тебя? Эй, дитятко?

— Н-нету! — Гаврила старался во всю силу, работая грудью, как мехами, и руками, как стальными пружинами. Вода под лодкой рокотала, и голубая полоса за кормой теперь была шире. Гаврила весь облился потом, но продолжал грести во всю силу. Пережив дважды в эту ночь такой страх, он теперь боялся пережить его в третий раз и желал одного: скорей кончить эту проклятую работу, сойти на землю и бежать от этого человека, пока он в самом деле не убил или не завёл его в тюрьму. Он решил не говорить с ним ни о чём, не противоречить ему, делать всё, что велит, и, если удастся благополучно развязаться с ним, завтра же отслужить молебен Николаю Чудотворцу. Из его груди готова была вылиться страстная молитва. Но он сдерживался, пыхтел, как паровик, и молчал, исподлбья кидая взгляды на Челкаша.

А тот, сухой, длинный, нагнувшийся вперёд и похожий на птицу, готовую лететь куда-то, смотрел во тьму вперёд лодки ястребиными очами и, поводя хищным, горбатым носом, одной рукой цепко держал ручку руля, а другой теребил ус, вздрагивавший от улыбок, которые кривили его тонкие губы. Челкаш был доволен своей удачей, собой и этим парнем, так сильно запуганным им и превратившимся в его раба. Он смотрел, как старался Гаврила, и ему стало жалко, захотелось ободрить его.

— Эй! — усмехаясь, тихо заговорил он. — Что, здорово ты перепугался? а?

— Н-ничего! . . . — выдохнул Гаврила и крикнул.

— Да уж теперь ты не очень наваливайся на вёсла-то.

мехи (мн.) — *sepalbõts*
стальные пружины — *terasved-
gud*
пережить страх — *hirmu üle ela-
ta*
не противоречить — *mitte vastu
vaielda*
развязаться = отделаться
молебен = краткая церковная
служба
чудотворец — *imetegija*

пыхтел как паровик — *ähkis
pagu vedur*
исподлбья — *altkulmu*
нагнувшийся вперёд — *ettepoole
kühmu vajunud*
ястребиными очами — *kullisilma-
dega*
теребил ус — *sikutas vurre*
вздрагивать — *võpatlema*
крикнуть — *prääksatama*
наваливаться на вёсла — *aegu-
dele peale gõhuma*

Теперь шабáш. Вот ещё только одно бы место пройти . . .
Отдохни-ка . . .

Гаврила послушно приостановился, вѣтер рукавом рубахи пот с лица и снова опустил вёсла в воду.

— Ну, гребѣ тише. Чтобы вода не разговаривала. Ворóтца одни надо миновать. Тише, тише . . . А то, брат, тут народы серьёзные . . . Как раз из ружья пошальтѣ могут. Таковую шѣшку на лбу набьют, что и не óхнешь.

Лодка теперь крáлась по воде почти совершенно беззвучно. Только с вёсел капали голубые капли, и когда они падали в море, на месте их падения вспыхивало ненадолго тоже голубое пятнышко. Ночь становилась все темнее и молчаливей. Теперь небо уже не походило на взволнованное море — тучи расплылись по нём и покрыли его ровным, тяжёлым пологом, низко опустившимся над водой и неподвижным. А море стало ещё спокойней, черней, сильнее пахло тёплым, солёным запахом и уж не казалось таким широким, как раньше.

— Эх, кабы дождь пошёл! — прошептал Челкаш. — Так бы мы и проехали, как за занавёской.

Слева и справа от лодки из чёрной воды поднялись какие-то здания — бáржи, неподвижные, мрачные и тоже чёрные. На одной из них двигался огонь, кто-то ходил с фонарём. Море, глядя их бока, звучало просительно и глухо, а они отвечали ему эхом, гóлким и холодным, точно спорили, не желая уступить ему в чём-то.

— Кордóны! . . — чуть слышно шепнул Челкаш.

С момента, когда он велел Гавриле грести тише, Гаврилу снова охватило острое выжидательное напряжение. Он весь подáлся вперёд, во тьму, и ему казалось, что он растёт, — кости и жилы вытягивались в нём с тупой болью, голова, запóлненная одной мыслью, болела, кожа на спине вздрáгивала, а в ноги вонзались маленькие, острые и холодные и́глы. Глаза ломило от напряжённого рассматривания тьмы, из которой он

теперь шабáш — *püüd on lõpp*
шѣшка — *siin: muhk*

лодка крáлась — *paat hiilis*
полог = занавеска — *(eesriie)*

уступить — *järele andma*

кордóн = отряд пограничной
охраны

выжидательное напряжение —
ootsepinevus
подáлся вперёд — *sirutas end*
ettepoole

с тупой болью — *tuima valuga*
вонзаться — *(sisse) torkama*
глаза ломило = глазам было
больно

ждал — вот-вот встанет и гáркнет на них: «Стой, воры!..»

Теперь, когда Челкаш шепнул «кордоны!», Гаврила дрóгнул: острая, жгучая мысль прошла сквозь него, прошла и задéла по тóго натянутым нервам, — он хотел крикнуть, позвать людей на помощь к себе... Он уже открыл рот и привстал немного на лавке, выпятил грудь, вобрал в неё много воздуха и открыл рот, — но вдруг, поражённый ужасом, удáрившим его, как плéтью, закрыл глаза и свалился с лавки.

... Впередí лодки, далекó на горизонте, из чёрной воды моря поднялся огрómный óгненно-голубóй меч, поднялся, рассéк тьму ночи, скользну́л своим остриём по тучам в небе и лёг на грудь моря широкой, голубой полосóй. Он лёг, и в полосу его сияния из мрака выплыли невидимые до той поры судá, чёрные, молчаливые, обвёшенные пы́шной ночной мглой. Казалось, они долго были на дне моря, увлечённые туда могучей силой бури, и вот теперь поднялись оттуда по велéнию óгненного мечá, рождённого морем, — поднялись, чтобы посмотреть на небо и на всё, что поверх воды... Их такелáж обнимал собой мачты и казался цепкими вóдорослями, поднявшимися со дна вместе с этими чёрными гигантами, опутанными их сетью. И он опять поднялся кверху из глубин моря, этот страшный голубой меч, поднялся, сверкая, снова рассéк ночь и снова лёг уже в другом направлении. И там, где он лёг, снова всплыли óстовы судов, невидимых до его появления.

Лодка Челкаша остановилась и колебáлась на воде, как бы недоумевáя. Гаврила лежал на дне, закрыв лицо руками, а Челкаш толкал его ногой и шипел бешено, но тихо:

— Дурак, это крейсер тамóженный... Это фонарь

задевать — tiivama
тóго натянутые нервы — tuge-
vasti pingule kistud närvid
выпятил грудь — ajas rinna õieli
меч рассéк тьму ночи — mõök
lõhestas õõpimedust
остриё — teravik; tera
пы́шный = роскошный — (uhke,
tore)
увлечённый = унесённый

такелáж — taglas, kõiestik
цепкие вóдоросли — sitked vesi-
kasvud
опутанные сетью — võrku mässit-
tud
колебáться — õõtsuma
как бы недоумевáя — otseku
hämmastunult
крейсер тамóженный — tollivalit-
suse ristleja

электрический!.. Вставай, дубина! Ведь на нас свет бросят сейчас!.. Погубишь, чорт, и себя, и меня! Ну!..

И, наконец, когда один из ударов каблукóм сапога сильнее других опустился на спину Гаврилы, он вскочил, всё ещё боясь открыть глаза, сел на лавку и, ощупью схватив вёсла, двинул лодку.

— Тише! Убью ведь! Ну, тише... Эка дурак, чорт тебя возьми!.. Чего ты испугался? Ну? Хáря!.. Фонарь — только и всего. Тише вёслами... Кислый чорт!.. За контрабáндой это следят. Нас не задéнут — далеко отплыли они. Не бойся, не задéнут. Теперь мы... — Челкаш торжествующе оглянулся кругом. — Конечно, выплыли!.. Фу-у!.. Н-ну, счастлив ты, дубина стоерóсовая!..

Гаврила молчал, грёб и, тяжело дыша, йскоса смотрел туда, где всё ещё поднимался и опускался этот о́гненный меч. Он никак не мог поверить Челкашу, что это только фонарь. Холодное голубое сияние, разрубавшее тьму, заставляя море светиться серебряным блёском, имело в себе нечто необъяснимое, и Гаврила опять впал в гипноз тоскливого страха. Он грёб, как машина, и всё сжимался, точно ожидал удара сверху, и ничего, никакого желания не было уже в нём — он был пуст и бездúшен. Волнения этой ночи выглодали, наконец, из него всё человеческое.

А Челкаш торжествовал. Его привычные к потрясениям нервы уже успокоились. У него сладостра́стно вздрагивали усы и в глазах разгорался огонёк. Он чувствовал себя великолéпно, посвистывал сквозь зубы, глубоко вдыхал влажный воздух моря, оглядывался кругом и добродушно улыбался, когда его глаза останавливались на Гавриле.

Ветер пронёсся и разбудил море, вдруг заигравшее

дубина — malakas; siin: juhm

каблук — saapakand

ощупью — kobamisi

хáря — molu

дубина стоерóсовая (ругат.) —
igavene lollpea

смотрел йскоса — vaatas kõõrdi,
viltu

волнения этой ночи — selle õõ
erutused

выглодать — välja õõnestama
(seest tühjaks närima)

торжествовать — võidurõõmutse-
ma

привычные к потрясениям нервы
— vapustustega harjunud när-
vid

сладостра́стно — iharalt

великолéпно — suurepäraselt

оглядывался кругом — vaatas
ringi

ча́стой зы́бью. Тучи сделались как бы тоньше и прозрачней, но всё небо было обложено ими. Несмотря на то, что ветер, хотя ещё лёгкий, свободно носился над морем, тучи были неподвижны и точно думали какую-то серую, скучную думу.

— Ну ты, брат, очу́хайся, порá! Ишь, тебя как — точно из кожи-то твоей весь дух выдавили, один мешо́к ко́стей остался! Конец уж всему. Эй!..

Гавриле всё-таки было приятно слышать человеческий голос, хоть это и говорил Челкаш.

— Я слышу, — тихо сказал он.

— То-то! Мя́киш... Ну-ка, садись на руль, а я — на вёсла, устал, поди!

Гаврила машинально переменял место. Когда Челкаш, меняясь с ним местами, взглянул ему в лицо и заметил, что он шатаётся на дрожащих ногах, ему стало ещё больше жаль парня. Он хлопнул его по плечу.

— Ну, ну, не робь! Заработал зато хорошо. Я те, брат, награжу́ богато. Четверто́й билет хочешь получить? а?

— Мне — ничего не надо. Только на бе́рег бы...

Челкаш махну́л рукой, плюну́л и принялся грести́, далеко назад забрасывая вёсла своими длинным руками.

Море просну́лось. Оно играло маленькими волнами, рожда́я их, украша́я бахромой пены, сталкивая друг с другом и разбива́я в мелкую пыль. Пена, та́я, шипела и вздыхала, — и всё кругом было за́полнено музыкальным шумом и плёском. Тьма как бы стала живее.

— Ну, скажи мне, — заговорил Челкаш, — приде́шь ты в деревню, же́нишься, начнёшь землю копать, хлеб сеять, жена детей народит, кормов не будет хватать; ну, будешь ты всю жизнь из кожи лезть... Ну, и что? Много в этом сма́ку?

— Ка́кой уж смак! — робко и вздрагивая ответил Гаврила.

ча́стая зы́бь — tihe virvendus
(небо) обложено (тучами) = по-
крыто

очу́хайся — toibu

весь дух выдавили — kogu toss
välja litsutud

мя́киш — pehme sisu (leival);
siin: pehme mehike, memm
не робь = не робей — (ära kardá)
четверто́й билет = 25 рублей
украшая бахромой пены — vahu-
narmastega kaunistades
смак (нем.) — maik

Кое-где ветер прорывал тучи, и из разрывов смотрели голубые кусочки неба с одной-двумя звёздочками на них. Отражённые играющим морем, эти звёздочки прыгали по волнам, то исчезая, то вновь блестя.

— Правее держи! — сказал Челкаш. — Скоро уж приедем. Н-да!.. Кончили. Работа важная! Вот видишь как?.. Ночь одна — и полтысячи я тяпнул!

— Полтысячи?! — недоверчиво протянул Гаврила, но сейчас же испугался и быстро спросил, толкая ногой тюки в лодке: — А это что же будет за вещь?

— Это — дорогая вещь. Всё-то, коли по цене продать, так и за тысячу хватит. Ну, я не дорожусь... Ловко?

— Н-да-а?.. — вопросительно протянул Гаврила. — Кабы мне так-то вот! — вздохнул он, сразу вспомнив деревню, убогое хозяйство, свою мать и всё то далёкое, родное, ради чего он ходил на работу, ради чего так измучился в эту ночь. Его охватила волна воспоминаний о своей деревеньке, сбегавшей по крутой горе вниз, к речке, скрытой в роще берёз, вётел, рябён, черёмухи... — Эх, важно бы!.. — грустно вздохнул он.

— Н-да! Я думаю, ты бы сейчас по чугунке домой... Уж и полюбили бы тебя дёвки дома, а-ах как!.. Любую бери! Дом бы себе сгροхал — ну, для дома денег, положим, маловато...

— Это верно... для дому нехвátка. У нас дóрог лес-то.

— Ну что ж? Старый бы поправил. Лошадь как? есть?

— Лошадь! Она и есть, да больно стара, чорт.

— Ну, значит, лошадь. Ха-арошую лошадь! Корову... Овец... Птицы разной... А?

— Не говори!.. Ох ты, господи! вот уж пóжил бы!

— Н-да, брат, житьишко было бы ничего себе...

прерывал тучи — (tuul) käristas
pilved katki

отражать — peegelduma
полтысячи тяпнул (простонар.)
= заработал

вспомнив убогое хозяйство —
(talle) meenus kehv majarida-
mine

родное — omane, armas
ветля — hõberaju

черёмуха — toomingas
по чугунке = псездом

(дом бы себе) сгрохал (простонар.) = построил

Я тоже понимаю толк в этом деле. Было когда-то своё гнездо... Отец-то был из первых богатеёв в селе...

Челкаш грёб медленно. Лодка колыхалась на волнах, шаловливо плескавшихся об её борта, еле двигалась по тёмному морю, а оно играло всё резвей и резвей. Двое людей мечтали, покачиваясь на воде и задумчиво поглядывая вокруг себя. Челкаш начал наводить Гаврилу на мысль о деревне, желая немного ободрить и успокоить его. Сначала он говорил, посмеиваясь себе в усы, но потом, подавая реплики собеседнику и напоминая ему о радостях крестьянской жизни, в которых сам давно разочаровался, забыл о них и вспоминал только теперь, — он постепенно увлёкся и вместо того, чтобы спрашивать парня о деревне и её делах, незаметно для себя стал сам рассказывать ему:

— Главное в крестьянской жизни — это, брат, свобода! Хозяин ты есть сам себе. У тебя твой дом — грош ему цена — да он твой. У тебя земля своя — и того её горсть — да она твоя! Король ты на своей земле!.. У тебя есть лицо... Ты можешь от всякого требовать уважения к тебе... Так ли? — воодушевлённо закончил Челкаш.

Гаврила глядел на него с любопытством и тоже воодушевлялся. Он во время этого разговора успел забыть, с кем имеет дело, и видел пред собой такого же крестьянина, как и сам он, прилепленного навеки к земле потом многих поколений, связанного с ней воспоминаниями детства, самовольно отлучившегося от неё и от забот о ней и понёсшего за эту отлучку должное наказание.

— Это, брат, верно! Ах, как верно! Вот гляди-ка на себя, что ты теперь такое без земли? Зёмлю, брат, как мать, не забудешь надолго.

Челкаш одумался... Он почувствовал это раздражающее жжение в груди, являвшееся всегда, чуть только

богате́й = богач
всё резвѣй — üha vilkamalt
ободрить — julgustama
реплика = ответ, замечание
разочарова́ться — pettuma
увлѣкся — sattus hoogu
незамѣтно для себя — endale
märkamatul't

прилепленный к землѣ — maа
külge liidetud
поколение — põlvkond
отлучиться — lahkuma, eemal-
duma
должное наказаніе — vääriline
karistus
одумался = передумал (mõtles
ümber)

его самолюбие — самолюбие бесшабашного удальца — бывало задето кем-либо, особенно тем, кто не имел цены в его глазах.

— Замолёл!.. — сказал он свирёпо, — ты, может, думал, что я всё это всерьёз... Держи карман шире!

— Да, чудак-человек!.. — снова оробёл Гаврила. — Разве я про тебя говорю? Чай, таких-то как ты, — много! Эх, сколько несчастного народу на свете!.. Шатающихся...

— Садись, тюлень, в вёсла! — кратко скомандовал Челкаш, почему-то сдержав в себе целый поток горячей ругани, хлынувшей ему к горлу.

Они опять переменились местами, причём Челкаш, перелезая на корму через тюки, ощутил в себе острое желание дать Гавриле пинка, чтобы он слетел в воду.

Короткий разговор смолк, но теперь даже от молчания Гаврилы на Челкаша вёяло деревней... Он вспоминал прошлое, забывая править лодкой, повернутой волнением и плившей куда-то в море. Волны точно понимали, что эта лодка потеряла цель, и, всё выше подбрасывая её, легко играли ею, вспыхивая под вёслами своим ласковым голубым огнём. А перед Челкашом быстро неслись картины прошлого, далёкого прошлого, отделённого от настоящего целой стеной из одиннадцати лет босяцкой жизни. Он успел посмотреть себя ребёнком, свою деревню, свою мать, краснощёкую, пухлую женщину, с добрыми серыми глазами, отца — рыжебородого гиганта, с суровым лицом; видел себя женихом и видел жену, черноглазую Анфису, с длинной косой, полную, мягкую, весёлую, снова себя, красавцем, гвардейским солдатом; снова отца, уже седого и согнутого работой, и мать, мор-

бесшабашный удалец = отчаянный
храбрец — hulljulge
замолёл! — kus pani vatrama!
свирёпо — tulivihaselt
всерьёз — tõsiselt
держй карман шире! — mitte
sinna poolegi!
шататься — siin: hulkuma
тюлень (м.) — hüljes
хлынувший поток — paiskunud
vool
вёяло деревней — lehvis küla-
hõngu

босяцкая жизнь — paljasjalgse
elu
видел себя женихом — nägi end
peigmehena
с длинной косой — pika juukse-
palmikuga
полную — siin: lihavat
отца, согнутого работой — isa,
tõöst küüruvajunud
мать, морщинистую, осевшую к
земле — ema kortsulist, maad-
ligi kooldunud

щинистую, осевшую к земле; посмотрел и картину встречи его деревней, когда он возвратился со службы; видел, как гордился перед всей деревней отец своим Григорием, усатым, здоровым солдатом, ловким красавцем... Память, этот бич несчастных, оживляет даже камни прошлого и даже в яд, выпитый некогда, подливает капли мёда...

Челкаш чувствовал себя овёянным примиряющей ласковой струёй родного воздуха, донёсшего с собой до его слуха и ласковые слова матери, и солидные речи йстового крестьянина-отца, много забытых звуков и много сочного запаха матушки-земли, только что оттаявшей, только что вспаханной и только что покрытой изумрудным шёлком озими... Он чувствовал себя одиноким, вырванным и выброшенным навсегда из того порядка жизни, в котором выработалась та кровь, что течёт в его жилах.

— Эй! а куда же мы едем? — спросил вдруг Гаврила.

Челкаш дрогнул и оглянулся тревожным взором хищника.

— Ишь, чорт занёс!.. Гребни-ка погуще...

— Задумался? — улыбаясь, спросил Гаврила.

— Устал...

— Так теперь мы, значит, уж не попадёмся с этим? — Гаврила ткнул ногой в тюки.

— Нет... Будь покоен. Сейчас вот дам и денежки получу... Н-да!

— Пять сотен?

— Не меньше.

— Это, тово, — сумма! Кабы мне, горюну!.. Эх, и сыграл бы я песенку с ними!..

— По крестьянству?

— Никак больше! Сейчас бы...

И Гаврила полетел на крыльях мечты. А Челкаш молчал. Усы у него обвисли, правый бок, захлёстанный

память, этот бич несчастных — mälestus, see õnnetute piits
струя — jõga
донёсший до его слуха — mis kandis tema kõrvadesse
йстовый = такой, каким следует
быть

сочный запах — mahlakas lõhn
изумруд — smaragd, heleroheline kalliskivi
не попадёмся — ei kuku sisse
горюн = несчастный, неудачник

волнами, был мокр, глаза ввалились и потеряли блеск. Всё хищное в его фигуре обмякло, ступённое при-
ниженной задумчивостью, смотревшей даже из складок
его грязной рубахи.

Он круто повернул лодку и направил её к чему-то
чёрному, высобывавшемуся из воды.

Небо снова всё покрылось тучами, и посыпался
дождь, мелкий, тёплый, весело звякавший, падая на
хребты волн.

— Стой! Тише! — скомандовал Челкаш.

Лодка стукнулась носом о корпус барки.

— Спят, что ли, чёрти?.. — ворчал Челкаш, цепляясь
багрём за какие-то верёвки, спускавшиеся с борта. —
Трап давай!.. Дождь пошёл ещё, не мог раньше-то! Эй
вы, губки!.. Эй!..

— Селкаш это? — раздалось сверху ласковое мурлы-
канье.

— Ну, спускай трап!

— Калимера, Селкаш!

— Спускай трап, копчёный дьявол! — взревел Чел-
каш.

— О, сердытый пришёл сегодня... Элоу!

— Лезь, Гаврила! — обратился Челкаш к товарищу.

В минуту они были на палубе, где три тёмных боро-
датых фигуры, оживлённо болтая друг с другом на
странном сюсюкающем языке, смотрели за борт в лодку
Челкаша. Четвёртый, завёрнутый в длинную хламиду,
подошёл к нему и молча пожал ему руку, потом
подозрительно оглянул Гаврилу.

— Припаси к утру деньги, — коротко сказал ему Чел-
каш. — А теперь я спать иду. Гаврила, идём! Есть
хочешь?

— Спать бы... — ответил Гаврила и через пять ми-
нут храпёл, а Челкаш, сидя рядом с ним, примерял себе

обмякнуть = стать мягким
стушевать = незаметно исчезнуть
приниженная задумчивость —
gõhutud mõtlikkus
выsobываться — veest välja ula-
tuma
звякать = звенеть
багр — rootshaak
трап = лестница на судах
губка — käs

мурлыканье — purrutamine
копчёный дьявол — suitsutatud
saatan
хламида (простонар.) = одежда
припаси деньги — pane raha val-
mis
храпеть — norskama
примерять (сапор) — jalga proo-
vima

на ногу чей-то сапог и, задумчиво сплёвывая в сторону, грустно свистел сквозь зубы. Потом он вытянулся рядом с Гаврилой, заложив руки под голову, поводя усами.

Барка тихо покачивалась на игравшей воде, где-то поскрипывало дерево жалобным звуком, дождь мягко сыпался на палубу, и плескались волны о борта... Всё было грустно и звучало, как колыбельная песнь матери, не имеющей надежд на счастье своего сына...

Челкаш, оскалив зубы, приподнял голову, огляделся вокруг и, прошептав что-то, снова улёгся... Раскинув ноги, он стал похож на большие ножницы.

III

Он проснулся первым, тревожно оглянулся вокруг, сразу успокоился и посмотрел на Гаврилу, ещё спавшего. Тот сладко всхрапывал и во сне улыбался чему-то всем своим детским, здоровым, загорелым лицом. Челкаш вздохнул и полез вверх по узкой верёвочной лестнице. В отверстие трюма смотрел свинцовый кусок неба. Было светло, но по-осеннему скучно и серо.

Челкаш вернулся часа через два. Лицо у него было красно, усы лихо закручены кверху. Он был одет в длинные крепкие сапоги, в куртку, в кожаные штаны и походил на охотника. Весь его костюм был потёрт, но крепок, и очень шёл к нему, делая его фигуру шире, скрадывая его костлявость и придавая ему воинственный вид.

— Эй, телёнок, вставай!.. — толкнул он ногой Гаврилу.

Тот вскочил и, не узнавая его со сна, испуганно уставился на него мутными глазами. Челкаш захохотал.

— Ишь ты какой!.. — широко улыбнулся, наконец, Гаврила. — Бабином стал!

поводя усами — vurre liigutades
ножницы — käärid

усы лихо закручены кверху —
vurrud uljalt ülespoole keera-
tud

костюм был потёрт — ülikond oli
kulunud

скрывая его костлявость — pei-
tes ta kõhetust

уставился на него — jäi teda
ainiti vahtima

мутными глазами — uduste sil-
madega

— У нас это скоро. Ну, и пуглив же ты! Сколько раз умирать-то вчера ночью собирался?

— Да, ты сам посуди, вперво́й я на такое дело! Ведь можно было душу загубить на всю жизнь!

— Ну, а ещё раз поехал бы? а?

— Ещё?.. Да ведь это — как тебе сказать? Из-за какой коры́сти?.. вот что!

— Ну, ежели бы две ра́дужных?

— Два ста рублёв, значит? Ничего... Это можно...

— Стой! А как ду́шу-то загубишь?..

— Да ведь, может... и не загубишь! — улыбнулся Гаврила.

— Не загубишь, а — человеком на всю жизнь сде́лаешься.

Челкаш вёсело хохотал.

— Ну, ладно! будет шутки шутить. Едем на берег...

И вот они снова в лодке. Челкаш на руле́, Гаврила на вёслах. Над ними небо, серое, ровно затянутое тучами, и лодкой играет мутнозелёное море, шумно подбрасывая её на волнах, пока ещё мелких, весело бросающих в борта светлые, солёные брызги. Далеко по носу лодки видна жёлтая полоса песча́ного берега, а за кормой уходит вдаль море, изры́тое ста́ями волн, у́бранных пышной, белой пеной. Там же, вдали, видно много судов; далеко влево — целый лес мачт и белые груды домов города. Оттуда по морю льётся глухой гул, рокочущий и вместе с плеском волн создающий хорошую, сильную музыку... И на всё наброшена тонкая пелена́ пёпельного тумана, отдаляющего предметы друг от друга.

— Эх, разыграется к вечеру-то добре! — кивнул Челкаш головой на море.

— Буря? — спросил Гаврила, мощно бороздя волны вёслами. Он был уже мокр с головы до ног от этих брызг, разбра́сываемых по морю ветром.

— Эге!.. — подтвердил Челкаш.

Гаврила пытливо посмотрел на него...

пугли́вый = боязливый (kartlik)
из-за коры́сти = пользы
ра́дужный — vikerkaarevärviline;
süin: sajaline paberraha
два ста рублёв (простонар.) =
двести рублей

море, изры́тое ста́ями волн —
laineparvedest läbiküntud meri
у́бранный белой пеной — valge
vahuga ehitud
тонкая пелена́ пёпельного тумана —
tuhkja udu õhuke lüük

— Ну, сколько ж тебе дали? — спросил он, наконец, видя, что Челкаш не собирается начать разговора.

— Вот! — сказал протягивая Гавриле что-то вынутое из кармана.

Гаврила увидал пёстрые бумажки, и всё в его глазах приняло яркие, радужные оттенки.

— Эх!.. А я ведь думал: врал ты мне!.. Это — сколько?

— Пятьсот сорок!

— Л-ловко!.. — прошептал Гаврила, жадными глазами провожая пятьсот сорок, снова спрятанные в карман. — Э-э-ма!.. Кабы этикие деньги!.. — и он угнетённо вздохнул.

— Гульнём мы с тобой, парнюга! — с восхищением вскрикнул Челкаш. — Эх, хватим... Не думай! Я тебе, брат, отделю... Сорок отделю! а? Доволен? Хочешь, сейчас дам?

— Коли не обидно тебе — что же? Я приму!

Гаврила весь трепетал от ожидания, острого, сосавшего ему грудь.

— Ах ты, чёртова кукла! Приму! Приму, брат, пожалуйста! Очень я тебя прошу, прими! Не знаю я, куда мне такую кучу денег девать! Избавь ты меня, прими-ка, на!..

Челкаш протянул Гавриле несколько бумажек. Тот взял их дрожащей рукой, бросил вёсла и стал прятать куда-то за пазуху, жадно сощу́рив глаза, шумно втягивая в себя воздух, точно пил что-то жгучее. Челкаш с насмешливой улыбкой поглядывал на него. А Гаврила уже снова схватил вёсла и грёб нервно, торопливо, точно пугаясь чего-то и опустив глаза вниз. У него вздрагивали плечи и уши.

— А жаден ты!.. Нехорошо... Впрочем, что же?.. Крестьянин... — задумчиво сказал Челкаш.

— Да ведь с деньгами-то что можно сделать!.. — воскликнул Гаврила, вдруг весь вспыхивая страстным

протягивать — sirutama, ulatama
оттёнки — varjundid

угнетённо вздохнул — ohkas rō-
hutult

гульнуть = проводить время в
кутежах (pummeldama)

сосать — imema

избавь = освободи

жадно сощу́рив глаза — ahnelt
silmi vidutades

жгучий = очень горячий

возбуждением. И он отрывисто, торопясь, точно догоняя свои мысли и с лёту хватая слова, заговорил о жизни в деревне с деньгами и без денег. Почёт, довольство, ве- селье! ..

Челкаш слушал его внимательно, с серьёзным лицом и с глазами, сощуренными какой-то думой. По временам он улыбался довольной улыбкой.

— Приехали! — прервал он речь Гаврилы.

Волна подхватила лодку и ловко ткнула её в песок.

— Ну, брат, теперь кончено. Лодку нужно вытащить подальше, чтобы не смыло. Придут за ней. А мы с тобой — прощай! .. Отсюда до города вёрст восемь. Ты что, опять в город вернёшься? а?

На лице Челкаша сияла добродушно хитрая улыбка, и весь он имел вид человека, задумавшего нечто весьма приятное для себя и неожиданное для Гаврилы. Засунув руку в карман, он шелестёл там бумажками.

— Нет... я... не пойду... я... — Гаврила зады- хался и давился чем-то.

Челкаш посмотрел на него.

— Что это тебя корчит? — спросил он.

— Так... — Но лицо Гаврилы то краснело, то дела- лось серым, и он мялся на месте, не то желая броситься на Челкаша, не то разрываемый иным желанием, испол- нить которое ему было трудно.

Челкашу стало не по себе при виде такого возбуж- дения в этом парне. Он ждал, чем оно разразится.

Гаврила начал как-то странно смеяться смехом, похо- жим на рыдание. Голова его была опущена, выражение его лица Челкаш не видал, смутно видны были только уши Гаврилы, то красневшие, то бледневшие.

— Ну ты к чорту! — махнул рукой Челкаш. — Влю- бился ты в меня, что ли? Мнётся, как девка! .. Али рас- ставание со мной тошно? Эй, сосун! Говори, что ты? А то уйду я! ..

стра́стное возбужде́ние — kirglik
erutus
почёт, довольство — lugupidami-
ne, küllus
задыха́лся и дави́лся — hingel-
das ja lõõtsutas
ко́рчить — siin: vinsklema

мя́ться (мнусь, мнёшься, мнётся,
мялся) — kõhklema, kogeleva
чем оно разрази́тся — millega see
laheneb
мнё́тся как девка — albib nagu
plika
али расставание то́шно = или
жа́ль расстаться

— Уходишь?! — звонко крикнул Гаврила.

Песчаный и пустынный берег дрогнул от его крика, и намытые волнами моря желтые волны песку точно всколыхнулись. Дрогнул и Челкаш. Вдруг Гаврила сорвался с своего места, бросился к ногам Челкаша, обнял их своими руками и дернул к себе. Челкаш пошатнулся, грузно сел на песок и, скрипнув зубами, резко взмахнул в воздухе своей длинной рукой, сжатой в кулак. Но он не успел ударить, остановленный стыдливым и просительным шопотом Гаврилы:

— Голубчик!.. Дай ты мне эти деньги! Дай, Христа ради! Что они тебе?.. Ведь в одну ночь — только в ночь... А мне — годá нужны... Дай — молиться за тебя буду! Вечно — в трех церквах — о спасении души твоей!.. Ведь ты их на ветер... а я бы — в землю! Эх, дай мне их! Что в них тебе?.. Али тебе дорого? Ночь одна — и богат! Сделай доброе дело! Пропаший ведь ты... Нет тебе пути... А я бы — ох! Дай ты их мне!

Челкаш, испуганный, изумлённый и озлобленный, сидел на песке, откинувшись назад и упираясь в него руками, сидел, молчал и страшно тарачил глаза на парня, уткнувшегося головой в его колени и шептавшего, задыхаясь, свои мольбы. Он оттолкнул его, наконец, вскочил на ноги и, сунув руку в карман, бросил в Гаврилу бумажки.

— На! Жри... — крикнул он, дрожа от возбуждения, острой жадности и ненависти к этому жадному рабу. И, бросив деньги, он почувствовал себя героем.

— Сам я хотел тебе больше дать. Разжалобился вчера я, вспомнил деревню... Подумал: дай, помогу парню. Ждал я, что ты сделаешь, попросишь — нет? А ты... Эх, войлок! Нищий!.. Разве из-за денег можно так истязать себя? Дурак! Жадные черти!.. Себя не помнят... За пятак себя продаёте!..

— Голубчик!.. Спаси Христос тебя! Ведь это теперь у меня что?.. я теперь... богач!.. — визжал Гаврила в восторге, вздрагивая и пряча деньги за пазуху. — Эх

озлобленный = сердитый
уткнуться головой — pead kuhu-
gi toppima
ненависть (ж.) vihkamine

он разжалобился — ta süda läks
haledaks
войлок — vilt; siin: vilets hing
истязать себя — ennast piinama

ты, милый!.. Вовек не забуду!.. Никогда!.. И жене, и детям закажу — молись!

Челкаш слушал его радостные вопли, смотрел на сиявшее, искажённое восторгом жадности лицо и чувствовал, что он — вор, гуляка, оторванный от всего родного — никогда не будет таким жадным, низким, не помнящим себя. Никогда не станет таким!.. И эта мысль и ощущение, наполняя его сознанием своей свободы, удерживали его около Гаврилы на пустынном морском берегу.

— Осчастливил ты меня! — кричал Гаврила и, схватив руку Челкаша, тЫкал ею себе в лицо.

Челкаш молчал и по-волчьи скáлил зубы. Гаврила всё изливáлся:

— Ведь я что думал? Едем мы сюда... думаю... хвачу я его — тебя — веслом... рраз!.. денежки — себе, его — в море... тебя-то... а? Кто, мол, его хватится? И найдут, не станут допытываться — как да кто. Не такой, мол, он человек, чтоб из-за него шум подымать!.. Ненужный на земле! Кому за него встать?

— Дай сюда деньги!.. — рывкнул Челкаш, хватая Гаврилу за горло.

Гаврила рванулся раз, два, — другая рука Челкаша змеёй обвилась вокруг него... Треск разрываемой рубахи — и Гаврила лежал на песке, безумно вытаращив глаза, цапаясь пальцами рук за воздух и взмахивая ногами. Челкаш, прямой, сухой, хищный, зло оскалив зубы, смеялся дробным, ёдким смехом, и его усы нервно прыгали на угловатом, остром лице. Никогда за всю жизнь его не били так больно, и никогда он не был так озлбблен.

— Что, счастлив ты? — сквозь смех спросил он Гаврилу и, повернувшись к нему спиной, пошёл прочь, по направлению к городу. Но он не сделал пяти шагов, как Гаврила кошкой изогнулся, вскочил на ноги и, широко

искажённое восторгом жадности
лицо — ahnuse vaimustusest
moondunud nägu
гуляка — pummeldaja
ощущение = чувство
изливаться — siin: tundeid väl-
jendama
рывкнуть = кричать во весь
голос

рвануться = резко тронуться
с места (järsku sõõstma)
смеялся дробным, ёдким смехом
— naeris sõredat, hammustat-
vat naeru
изогнулся кошкой — tõmbus
kassina looka

размахнувшись в воздухе, бросил в него круглый камень, злобно крикнув:

— Рраз! . .

Челкаш крякнул, схватился руками за голову, качнулся вперёд, повернулся к Гавриле и упал лицом в песок. Гаврила за́мер, глядя на него. Вот он шевельну́л ногой, попробовал поднять голову и вытянулся, вздрóгнув, как струна́. Тогда Гаврила бросился бежать вдаль, где над туманной степью висела мохна́тая чёрная туча и было темно. Волны шурша́ли, избегая на песок, сливаясь с ним и снова избегая. Пена шипела, и брызги воды летали по воздуху.

Посы́пался дождь. Сначала редкий, он быстро перешёл в плотный, крупный, лившийся с неба тонкими струйками. Они сплетáли целую сеть из ниток воды — сеть, сразу закрывшую собой даль степи и даль моря. Гаврила исчез за ней. Долго ничего не было видно, кроме дождя и длинного человека, лежавшего на песке у моря. Но вот из дождя снова появился бегущий Гаврила, он летел птицей; подбежав к Челкашу, упал перед ним и стал ворочать его на земле. Его рука окуну́лась в тёплую красную слизь . . . Он дрогнул и отшатнулся с безу́мным, бледным лицом . . .

— Брат, встань-кось! — шептал он под шум дождя в ухо Челкашу.

Челкаш очну́лся и толкнул Гаврилу от себя, хрипло сказав:

— Поди прочь! . .

— Брат! Прости! . . дьявол это меня . . . — дрожа шептал Гаврила, целуя руку Челкаша.

— Иди . . . Ступай . . . — хрипéл тот.

— Сними грех с души! . . Родной! Прости! . .

— Про . . . уйди ты! . . уйди к дьяволу! — вдруг крикнул Челкаш и сел на песке. Лицо у него было бледное, злое, глаза му́тны и закрывались, точно он сильно хотел спать. — Чего тебе ещё? Сделал своё дело . . . иди! Пошёл! — и он хотел толкнуть убитого горем Гаврилу

как струна́ — nagu pillikeel
шурша́ть — kahisema
брызги — pritsmed

сплетáли сеть из ниток воды —
põimisid veeniitidest võrgu

ногой, но не смог и снова свалился бы, если бы Гаврила не удержал его, обняв за плечи. Лицо Челкаша было теперь в уровень с лицом Гаврилы. Оба были бледны и страшны.

— Тьфу! — плюнул Челкаш в широко открытые глаза своего работника.

Тот смиренно вытерся рукавом и прошептал:

— Что хошь делай... Не отвечу словом. Прости для Христа!

— Гнус!.. И блудить-то не умеешь!.. — презрительно крикнул Челкаш, сорвал из-под своей куртки рубаху и молча, изредка поскрипывая зубами, стал обвязывать себе голову. — Деньги взял? — сквозь зубы процедил он.

— Не брал я их, брат! Не надо мне!.. беда от них!..

Челкаш сунул руку в карман своей куртки, вытащил пачку денег, одну радужную бумажку положил обратно в карман, а все остальные кинул Гавриле.

— Возьми и ступай!

— Не возьму, брат!.. Не могу! Прости!

— Бери, говорю!.. — взревел Челкаш, страшно вращая глазами.

— Прости!.. тогда возьму... — робко сказал Гаврила и пал в ноги Челкаша на сырой песок, щедро поливаемый дождём.

— Врёшь, возьмёшь, гнус! — уверенно сказал Челкаш, и, с усилием подняв его голову за волосы, он сунул ему деньги в лицо.

— Бери! бери! Не даром работал! Бери, не бойсь! Не стыдись, что человека чуть не убил! За таких людей, как я, никто не взъщёт. Еще спасибо скажут, как узнают. На, бери!

Гаврила видел, что Челкаш смеётся, и ему стало легче. Он крепко сжал деньги в руке.

— Брат! а простишь меня? Не хошь? а? — слезливо спросил он.

уровень (м.) — tase
в уровень с лицом — nāo kōr-
gusel
смирённо вытерся — pūhkis
alandlikult (nāgu)

гнус! — vastik
блудить — kōlvatust tegema
никто не взъщёт — keegi ei
karista

— Родимой!.. — в тон ему ответил Челкаш, подымаясь на ноги и покачиваясь. — За что? Не за что! Сегодня ты меня, завтра я тебя.

— Эх, брат, брат!.. — скóрбно вздохнул Гаврила, качая головой.

Челкаш стоял перед ним и странно улыбался, а тряпка на его голове, понемногу краснея, становились похожей на турецкую фэску.

Дождь лил, как из ведра. Море глухо роптáло, волны бились о берег бéшено и гневно.

Два человека помолчали.

— Ну, прощай! — насмешливо сказал Челкаш, пускаясь в путь.

Он шатался, у него дрожали ноги, и он так странно держал голову, точно боялся потерять её.

— Прости, брат!.. — ещё раз попросил Гаврила.

— Ничего! — холодно ответил Челкаш, пускаясь в путь.

Он пошёл, пошатываясь и всё поддерживая голову ладонью левой руки, а правой тихо дёргая свой бурый ус.

Гаврила смотрел ему вслед до поры, пока он не исчез в дожде, всё гуще лившем из туч тонкими, бесконечными струйками и окутывавшем степь непроницаемой стальной мглой.

Потом Гаврила снял свой мокрый картуз, перекрестился, посмотрел на деньги, зажатые в ладони, свободно и глубоко вздохнул, спрятал их за пазуху и широкими, твёрдыми шагами пошёл бёрегом в сторону, противоположную той, где скрылся Челкаш.

Море выло, швыряло большие тяжёлые волны на прибрежный песок, разбивая их в брызги и пену. Дождь ретиво сёк воду и землю... ветер ревел... Всё кругом наполнялось воем, рёвом, гулом... За дождём не видно было ни моря, ни неба.

вздохнул скóрбно — ohkas valulisel

фэска = головной убор турок, сшитый из красного сукна

море глухо роптáло — meri urises tumedalt

в противоположную сторону — vastassuunas

швыряло волны — (meri) loopis laineid

ретиво — innukalt

Скоро дождь и брызги волн смыли красное пятно на том месте, где лежал Челкаш, смыли следы Челкаша и следы молодого парня на прибрежном песке... И на пустынном берегу моря не осталось ничего в воспоминание о маленькой драме, разыгравшейся между двумя людьми.

1895

ДЕТСТВО

I

1

В полутёмной тесной комнате, на полу, под окном, лежит мой отец, одетый в белое и необыкновенно длинный; пальцы его босых ног странно растопырены, пальцы ласковых рук, смиренно положенных на грудь, тоже кривые; его весёлые глаза плотно прикрыты чёрными кружками медных монет, доброе лицо темно и пугает меня нехорошо оскáленными зубами.

Мать, полуголая, в красной юбке, стоит на коленях, зачёсывая длинные, мягкие волосы отца со лба на затылок чёрной гребёнкой, которой я любил перепиливать корки арбузов; мать непрерывно говорит что-то густым, хрипящим голосом, её серые глаза опухли и словно тают, стекая крупными каплями слёз.

Меня держит за руку бабушка — круглая, большеголовая, с огромными глазами и смешным рыхлым носом; она вся чёрная, мягкая и удивительно интересная; она тоже плачет, как-то особенно и хорошо подпевая матери, дрожит вся и дёргает меня, толкая к отцу; я упираюсь, прячусь за неё; мне бо́язно и неловко.

Я никогда ещё не видал, чтобы большие плакали, и не понимал слов, неоднократно сказанных бабушкой:

пальцы ног — varbad
странно растопырены — veid-
galt harali
оскáленные зубы — irevil ham-
bad
юбка — undruk
зачёсывать = причёсывать на-
зад — taliapoole sugema
гребёнка — kamm

глаза опухли — silmad on pon-
dunud
слезá — pisar
со смешным рыхлым носом —
naljaka koreda ninaga
подпевать — kaasa laulma;
siin: kaasa halisema
я упираюсь — ma tõrgun
неоднократно — järjest

— Попрощайся с тятёй-то, никогда уж не увидишь его, помер он, голубчик, не в срок, не в свой час . . .

Я был тяжко болен, — только что встал на ноги; во время болезни — я это хорошо помню — отец весело возился со мною, потом он вдруг исчез, и его заменила бабушка, странный человек.

— Ты откуда пришла? — спросил я её.

Она ответила:

— Сверху, из Нижнего, да не пришла, а приехала! По воде-то не ходят, шиш!

— А отчего я шиш?

— Оттого, что шумишь, — сказала она, тоже смеясь.

Она говорила ласково, весело, складно. Я с первого же дня подружился с нею, и теперь мне хочется, чтобы она скорее ушла со мною из этой комнаты.

Меня подавляет мать; её слёзы и вой зажгли во мне новое, тревожное чувство. Я впервые вижу её такую, — она была всегда строгая, говорила мало; она чистая, гладкая и большая, как лошадь; у неё жёсткое тело и страшно сильные руки. А сейчас она вся как-то неприятно вспухла и растрёпана, всё на ней разорвалось; волосы, лежавшие на голове аккуратно, большою светлой шапкой рассыпались по голому плечу, упали на лицо, а половина их, заплетённая в косу, болтается, задевая уснувшее отцово лицо. Я уже давно стою в комнате, но она ни разу не взглянула на меня, — причёсывает отца и всё рычит, захлёбываясь слезами.

В дверь заглядывают чёрные мужики и солдат-бúдочник. Он сердито кричит:

— Скорее убирайте!

Окно занавешено тёмной шалью; она вздувается, как парус. Однажды отец катал меня на лодке с парусом. Вдруг ударил гром. Отец засмеялся, крепко сжал меня коленями и крикнул:

— Ничего, не бойся, Лук!

тятя = отец (taat)

помер = умер (suri)

говорила складно — kõneles laldusalt

меня подавляет мать — ema mõjub minusse rõhuvalt

тревожное чувство — ärev tunne

она . . . вспухла и растрёпана — ta on tursunud ja sorakil
захлёбываясь слезами — lämbudes pisarailt

солдат-бúдочник = полицейский, стоявший на посту у караульной будки (putkavaht)

шаль вздувается, как парус — sall paisub kui puri

Вдруг мать тяжело взметну́лась с пола, тотчас снова осела, опрокину́лась на спину, разметав волосы по́ полу; её слепое, белое лицо посинело, и, оскáлив зубы, как отец, она сказала страшным голосом:

— Дверь затворите... Алексея — вон!

Оттолкнув меня, бабушка бросилась к двери, закричала:

— Родимые, не бойтесь, не троньте, уйдите Христа ради! Это — не холёра, роды пришли, помилуйте, батюшки!

Я спрятался в тёмный угол за сундúk и оттуда смотрел, как мать извивáется по́ полу, óхая и скрипя зубами, а бабушка, ползая вокруг, говорит ласково и радостно:

— Во имя отца и сына! Потерпи́, Варюша!.. Пресвятáя мати божия, заступница...

Мне страшно; они вóзятся на полу около отца, задевают его, стóнут и кричáт, а он неподвижен и точно смеётся. Это длилось долго — возня на полу; не однажды мать вставала на ноги и снова падала; бабушка выкáтывалась из комнаты, как большой чёрный мягкий шар; потом вдруг во тьме закричал ребёнок.

— Слава тебе, господи! — сказала бабушка. — Мальчик!

И зажгла свечу́.

Я, должно быть, заснул в углу, — ничего не помню больше.

Второй óттиск в памяти моей — дождливый день, пустынный угол кладбища; я стою на скóльзком бугре липкой земли и смотрю в яму, куда опустили гроб отца; на дне ямы много воды и есть лягушки, — две уже взобрались на жёлтую крышку гроба.

У могилы — я, бабушка, мокрый бúdoчник и двое

взметну́лась с пола — ajas end põrandalt üles

снова осела — vajus uuesti maha

роды пришли — tuhud (sünnitusvalud) on tulnud

сундúk — riidekirst

извивáется по́ полу — väänleb põrandal

пресвятáя мати божия — (kirikukeeles) täh.: kõige pühama jumalaema

заступница — eestkostja

возятся на полу — askeldavad põrandal

выкáтывалась из комнаты — veeres toast välja

óттиск = здесь: впечатление — mulje, mälupeilt

па́мять (ж.) — mälu

пустынный угол кладбища — mahaajatud kalmistunurk

на бугре липкой земли — kleepuval mullahunnikul

сердитых мужиков с лопатами. Всех осыпает тёплый дождь, мелкий, как бисер.

— Зарывай, — сказал будочник, отходя прочь.

Бабушка заплакала, спрятав лицо в конец головнóго платка. Мужики, согнувшись, торопливо начали сбрасывать землю в могилу, захлюпала вода; спрыгнув с гроба, лягушки стали бросаться на стенки ямы, ко́мья земли сшибáли их на дно.

— Отойди, Лёня, — сказала бабушка, взяв меня за плечо; я выскользнул из-под её руки, не хотелось уходить.

— Экой ты, гóсподи, — пожáловалась бабушка, не то на меня, не то на бóга, и долго стояла мóлча, опустив голову; уже могила сравнялась с землёй, а она всё ещё стоит.

Мужики гúлко шлѣпали лопатами по землѣ; налетел ветер и прогнал, унёс дождь. Бабушка взяла меня за руку и повела к далѣкой церкви, среди множества тѣмных крестов.

— Ты что не поплáчешь? — спросила она, когда вышла за оградóу. — Поплакал бы!

— Не хóчется, — сказал я.

— Ну, не хочется, так и не надо, — тихóнько выговорила она.

Всё это было удивительно: я плакал редко и только от обиды, не от бóли; отец всегда смеялся над моими слезáми, а мать кричала:

— Не смей плакать!

Потом мы ехали по широкой, очень грязной улице на дрóжках, среди темнокрасных домов; я спросил бабушку:

— А лягушки не вылезут?

— Нет, уж не вылезут, — ответила она. — Бог с ними!

Ни отец, ни мать не произносили так часто и рóдственно имя бóжие.

дождь, мелкий, как бисер —
helmestena peenike vihm
захлюпала вода — plartsus vesi
ко́мья земли — mullakamakad
сшибáли на дно — paiskasid
(nad) põhja
могила сравнялась с землёй —

haud hakkas maaga tasa saama
гúлко — kõmisevalt
плáкал от обиды — (ma) nut-
sin solvamise pärast
бог — jumal
так рóдственно — niisuguse ko-
duse soojusega

Через несколько дней я, бабушка и мать ехали на пароходе, в маленькой каюте; новорождённый брат мой Максим умер и лежал на столе в углу, завернутый в белое, спелёнатый красною тесьмой.

Примостившись на узлах и сундуках, я смотрю в окно, выпуклое и круглое, точно глаз коня; за мокрым стеклом бесконечно льётся мутная, пённая вода. Порою она, вскидываясь, лижет стекло. Я невольно прыгаю на пол.

— Не бойся, — говорит бабушка и, легко приподняв меня мягкими руками, снова ставит на узлы.

Над водою — серый, мокрый туман; далеко где-то является тёмная земля и снова исчезает в тумане и воде. Всё вокруг трясётся. Только мать, закинув руки за голову, стоит, прислонясь к стене, твёрдо и неподвижно. Лицо у неё тёмное, железное и слепое, глаза крепко закрыты, она всё время молчит, и вся какая-то другая, новая, даже платье на ней незнакомо мне.

Бабушка не однажды говорила ей тихо:

— Варя, ты бы поела чего малёнько, а?

Она молчит и неподвижна.

Бабушка говорит со мною шопотом, а с матерью — громче, но как-то осторожно, робко и очень мало. Мне кажется, что она боится матери. Это понятно мне и очень сближает с бабушкой.

— Саратов, — неожиданно громко и сердито сказала мать. — Где же матрос?

Вот и слова у неё странные, чужие: Саратов, матрос.

Вошёл широкий седой человек, одетый в синее, принёс маленький ящик. Бабушка взяла его и стала укладывать тело брата, уложила и понесла к двери на вбитых руках, но — толстая — она могла пройти в узенькую дверь каюты только боком и смешно замялась перед нею.

— Эх, мамаша, — крикнула мать, отняла у неё гроб,

новорождённый брат — äsja-sündinud vend

спеленать — mähkima

красная тесьма — rüpane pael
примостившись на узлах — asutanud end kompsudele istuma

выпуклое окно — kumer aken
она, вскидываясь лижет стекло

— üles viskudes, nilpsab ta klaasi

всё трясётся — kõik vabiseb

малёнько (простонар.) = немного

это мне понятно — see on mulle arusaadav

и обе они исчезли, а я остался в каюте, разглядывая синего мужика.

— Что, отошёл братишка-то? — сказал он, наклонясь ко мне.

— Ты кто?

— Матрос.

— А Саратов — кто?

— Город. Гляди в окно, вот он!

За окном двигалась земля; тёмная, обрывистая, она курьлась туманом, напоминая большой кусок хлеба, только что отрезанный от каравая.

— А куда бабушка ушла?

— Внука хоронить.

— Его в землю зарóют?

— А как же? Зароют.

Я рассказал матросу, как зарыли живых лягушек, хороня отца. Он поднял меня на руки, тесно прижал к себе и поцеловал.

— Эх, брат, ничего ты ещё не понимаешь! — сказал он. — Лягушек жалеть не надо, господь с ними! Мать пожалей, — вон как её горе ушибло!

Над нами загудело, завывало. Я уже знал, что это — пароход, и не испугался, а матрос торопливо опустил меня на пол и бросился вон, говоря:

— Надо бежать!

Я лёг на узлы и уснул.

А когда проснулся, пароход снова бұхал и дрожал, окно каюты горело, как солнце. Бабушка, сидя около меня, чесала волосы и морщилась, что-то нашептывая.

Говорила она, как-то особенно выпевая слова, и они легко укреплялись в памяти моей, похожие на цветы, такие же ласковые, яркие, сочные. Когда она улыбалась, её тёмные, как вишни, зрачки расширялись, вспыхивая невыразимо приятным светом, улыбка весело обнажала белые, крепкие зубы, и, несмотря на множество морщин

отошёл = ушёл; *здесь*: умер
обрывистый — jääraklik (kal-
las)

каравай — leivaräts

как её горе ушибло — kuidas
teda häda on muserdanud

пароход бұхал — aurik pahises
говорила, выпевая слова — kõ-
neles otsekuulauldes

укреплялись в памяти — jäid
hõlpsasti meelde
сочный — lopsakas
зрачки расширились — silmate-
rad laienesid

обнажала зубы — paljastas
hambad

множество морщин — hulk kort-
se

в тёмной коже щёк, всё лицо казалось молодым и светлым. Очень портил его этот рыхлый нос с раздутыми ноздрями и красный на конце. Она нюхала табак из чёрной табакерки, украшенной серебром. Вся она — тёмная, но светилась изнутри — через глаза — неугасимым, весёлым и тёплым светом. Она сутула, почти горбатая, очень полная, а двигалась легко и ловко, точно большая кошка, — она и мягкая такая же, как этот ласковый зверь.

До неё как будто спал я, спрятанный в темноте, но явилась она, разбудила, вывела на свет, связала всё вокруг меня в непрерывную нить, сплела всё в разноцветное кружево и сразу стала на всю жизнь другом, самым близким сердцу моему, самым понятным и дорогим человеком, — это её бескорыстная любовь к миру обогатила меня, насытив крепкой силой для трудной жизни.

Сорок лет назад пароходы плавали медленно; мы ехали до Нижнего очень долго, и я хорошо помню эти первые дни насыщения красотой.

Установилась хорошая погода; с утра до вечера я с бабушкой на палубе, под ясным небом, между позолоченных осенью, шелками шитых берегов Волги. Не торопясь, лениво и гулко бухая плечами по серовато-синей воде, тянется вверх по течению светлорыжий пароход, с баржей на длинном буксире. Баржа серая и похожа на мокрицу. Незаметно плывёт над Волгой солнце; каждый час всё вокруг ново, всё меняется; зелёные горы — как пышные складки на богатой одежде земли; по берегам стоят города и сёла, точно пряничные издали; золотой осенний лист плывёт по воде.

— Ты гляди, как хорошо-то! — ежеминутно говорит

неугасимый свет — kustumatu
valgus

она сутула, почти горбатая —
ta on vimmas, peaaegu küüraka-
kas

сплела в разноцветное кружево
— põimis kirevaiks pitsideks

её бескорыстная любовь — ta
otakasurüüdmatu armastus

установилась хорошая погода
— ilmad püsisid ilusad

насытить — küllastama

шелками шитый — siidiga ti-
kitud

плёсы = лопасти парового
колеса — (rattalabad)

баржа на длинном буксире —
graam pikas puksiiris

похожа на мокрицу — meenutab
keldrikakandit

пышные складки — toredad vol-
did

точно пряничные = как пряни-
ки (piparkoogid)

бабушка, переходя от борта к борту, и вся сияет, а глаза у неё радостно расширены.

Часто она, заглядевшись на берег, забывала обо мне: стоит у борта, сложив руки на груди, улыбается и молчит, а на глазах слёзы. Я дёргаю её за тёмную, с набойкой цветáми, юбку.

— Ась? — встрепенётся она. — А я будто задремала да сон вижу.

— А о чём плачешь?

— Это, милый, от радости да от старости, — говорит она, улыбаясь. — Я ведь уж старая, за шестой десяток лета-вёсны мои перекинулись-пошли.

И, понюхав табаку, начинает рассказывать мне какие-то диковинные истории о добрых разбойниках, о святых людях, о всяком зверё и нечистой силе.

Сказки она сказывает тихо, тайнственно, наклонясь к моему лицу, заглядывая в глаза мне расширенными зрачками, точно вливая в сердце моё силу, приподнимающую меня. Говорит, точно поёт, и чем дальше, тем складней звучат слова. Слушать её невыразимо приятно. Я слушаю и прошу:

— Ещё!

— А ещё вот как было: сидит в подпечке старичок-домовый, занозил он себе лапу лапшой, качается, хныкает: «Ой, мышеньки, больно, ой, мышата, не стерплю!»

Подняв ногу, она хватается за неё руками, качает её на весу и смешно морщит лицо, словно ей самой больно.

Вокруг стоят матросы — бородатые, ласковые мужики, — слушают, смеются, хвалят её и тоже просят:

— А ну, бабушка, расскажи ещё чего!

Потом говорят:

— Айда ужинать с нами!

набойка = ткань с красочным узором

встрепенётся — vōpatab

диковинные истории — imepā-rased lood

о добрых разбойниках — hea-dest gōōvilitest

о нечистой силе — pahadest vaimudest

тайнственно — salapāraselt

тем складней — seda ladusa-malt

невыразимо приятно — kirjeldamatult mõnus

в подпечке — ahjualuses

старичок-домовый — majahaldjataan

занозил лапу лапшой — on endale nuudlikillu kāpa sisse astunud

не стерплю — ei jõua kannatada

качает на весу — kiigutab õhus

За ужином они угощают её водкой, меня — арбузами, дыней; это делается скрѣтно: на пароходе едет человек, который запрещает есть фрукты, отнимает их и выбрасывает в реку. Он одет похоже на будочника — с медными пуговицами — и всегда пьяный; люди прячутся от него.

Мать редко выходит на палубу и держится в стороне от нас. Она всё молчит, мать. Её большое, стройное тело, тёмное, железное лицо, тяжёлая корона заплетённых в косы светлых волос — вся она, мощная и твёрдая, вспоминается мне как бы сквозь туман или прозрачное облако; из него отдалённо и непривѣтливо смотрят прямые серые глаза, такие же большие, как у бабушки.

Однажды она строго сказала:

— Смеются люди над вами, мамаша!

— А господь с ними! — беззаботно ответила бабушка. — А пускай смеются, на доброе им здорóвье!

Помню детскую радость бабушки при виде Нижнего. Дѣргая за руку, она толкала меня к борту и кричала:

— Гляди, гляди, как хорошо! Вот он, батюшка, Нижний-то! Вот он какой, бóгов! Церкви-те, гляди-ка ты, летят будто!

И просила мать, чуть не плача:

— Варюша, погляди, чай, а? Поди, забыла ведь! Порадуйся!

Мать хмуро улыбалась.

Когда пароход остановился против красивого города, среди реки, тесно загромождённой судами, оцетинившейся сотнями острых мачт, к борту его подплыла большая лодка со множеством людей, подцепилась багрóm к спущенному трапу, и один за другим люди из лодки стали подниматься на палубу. Впереди всех быстро шёл небольшой сухонький старичок, в чёрном длинном одеянии, с рыжей, как золото, борóдкой, с птичьим носом и зелёными глазками.

это делается скрѣтно — see
sünnib salaja

корона волос — juuste kroon
заплетённых в косы — palmi-
kuisse põimitud

хмуро улыбалась — naeratas tu-
saselt

загромождённый судами — lae-
vu täis kiilutud

оцетинилась сотнями мачт —
harjastena kerkis sadu maste

подцепились багрóm к спущен-
ному трапу — haarati poots-
haagiga allalastud laevatrepist
kinni

сухонький старичок — kuiveta-
nud vanamehike

— Папáша! — густо и громко крикнула мать и опрокинулась на него, а он, хватая её за голову, быстро глядя щёки её маленькими, красными руками, кричал, взвизгивая:

— Что-о, дура? Ага-а! То-то вот... Эх вы-и...

Бабушка обнимала и целовала как-то сразу всех, вертясь, как винт; она толкала меня к людям и говорила торопливо:

— Ну, скорее! Это — дядя Михайло, это — Яков... Тётка Наталья, это — братья, оба Саши, сестра Катерина, это всё наше плéмя, вот сколько!

Дедушка сказал ей:

— Здорóва ли, мать?

Они троекратно поцеловáлись.

Дед вьдернул меня из тесной кучи людей и спросил, держа за голову:

— Ты чей таков будешь?

— Астраханский, из каюты...

— Чего он говорит? — обратился дед к матери и, не дождавшись ответа, отодвинул меня, сказав:

— Скúлы-те отцóвы... Слезайте в лодку!

Съехали на берег и толпой пошли в гору, по съезду, мощённому крупным булбжником, между двух высоких откóсов, покрытых жухлой, примятой травой.

Дед с матерью шли вперёд всех. Он был ростом под руку ей, шагал мелко и быстро, а она, глядя на него сверху вниз, точно по воздуху плыла. За ними мóлча двигались дядья: чёрный гладковолóсый Михаил, сухой, как дед; светлый и кудрявый Яков, какие-то толстые женщины в яркx платяx и человек шесть детей, все старше меня и все тихие.

И взрослые и дети — все не понравились мне, я чувствовал себя чужим среди них, даже и бабушка как-то помёркла, отдалíлась.

Особенно же не понравился мне дед; я сразу почуял в

наше плéмя — meie suguselts
скúлы-те отцóвы — isa põse-
nikid teisel

по съезду = здесь: по спуску
(mõõda kallakut)

мощённому булбжником — mu-
nakividega sillutatud

высокий откóс — kõrge põlvak
жухлая, примятая травá — pär-
bunud, tallatud rohi

помёркла, отдалíлась — muu-
tus ähmaseks, kaugeks

я почуял в нём врагá — ma
aimasin temas vaenlast

нём врага, и у меня явилось особенное внимание к нему, опáсливое любопытство.

Дошли до конца съезда. На самом верху его стоял приземистый одноэтажный дом, окрашенный грязно-розовой краской, с нахлобученной низкой крышей и выпученными окнами. С улицы он показался мне большим, но внутри его, в маленьких, полутёмных комнатах, было тесно; везде, как на пароходе перед пристанью, суетились сердитые люди, стáей воровáтых воробьёв метáлись ребяτίшки, и всюду стоял едкий, незнакомый запах.

Я очутился на дворе. Двор был тоже неприятный: весь завешан огромными мокрыми тряпками, заставлен чанами с густой разноцветной водою. В ней тоже мокли тряпицы. В углу, в низенькой полуразрушенной пристройке, жарко горели дрова в печи, что-то кипело, булькало, и невидимый человек громко говорил странные слова:

— Санда́л — фукси́н — купоро́с...

II

1

Началась и потекла со страшной быстротой густая, пёстрая, невыразимо странная жизнь. Она вспоминается мне, как суровая сказка, хорошо рассказанная добрым, но мучительно правдивым гением. Теперь, оживляя прошлое, я сам порою с трудом верю, что всё было именно так, как было, и многое хочется оспорить, отвёргнуть, — слишком обильна жестокостью тёмная жизнь «неумного племени».

опáсливое любопытство — val-
vas uudishimu
приземистый (дом) = низкий
нахлобучить — silmile tõmba-
ma (mütsi)
выпученные окна — esiletükki-
vad aknad
пристань = гавань (sadam)
воровáтый — kaval, kelm
заставлен чанами — tünne täis
pandud (õu)
мокли тряпицы — ligunesid rä-
balad

санда́л = краситель
фукси́н = красная анилиновая
краска
купоро́с — vitriol
мучительно правдивый — piina-
valt tõetruu
хочется оспорить — tahaks vas-
tu vaielda
отвёргнуть — ümber lükkama
обильный — ohter, rikkalik
жестокость (ж.) — julmus

Но правда выше жалости, и ведь не про себя я рассказываю, а про тот тесный, душный круг жутких впечатлений, в котором жил — да и по сей день живёт — простой русский человек.

Дом деда был наполнен горячим туманом взаимной вражды всех со всеми; она отравляла взрослых, и даже дети принимали в ней живое участие. Впоследствии из рассказов бабушки я узнал, что мать приехала как раз в те дни, когда её братья настойчиво требовали у отца раздела имущества. Неожиданное возвращение матери ещё более обострило и усилило их желание выделиться. Они боялись, что моя мать потребует приданого, назначенного ей, но удержанного дедом, потому что она вышла замуж «самокруткой», против его воли. Дядья считали, что это приданое должно быть поделено между ними. Они тоже давно и жестоко спорили друг с другом о том, кому открыть мастерскую в городе, кому — за Окóй в слободé Кунавине.

Уже вскоре после приезда в кухне, во время обеда, вспыхнула ссора: дядья внезапно вскочили на ноги и, перегибаясь через стол, стали выть и рычать на дедушку, жалобно скаля зубы и встряхиваясь, как собаки, а дед, стуча ложкой по столу, покраснел весь и звонко — пехом — закричал:

— По миру пушу!

Болезненно искривив лицо, бабушка говорила:

— Отдай им всё, отец, — спокойней тебе будет, отдай!

— Цыц, потятчица! — кричал дед, сверкая глазами, и было странно, что, маленький такой, он может кричать столь оглушительно.

душный круг — umbne ring
жуткие впечатления — õudsed muljed
взаимная вражда — vastastikupe vaen
отравляла взрослых — mürgitas täiskasvanuid
впоследствии = после, позже
настойчиво требовали — tungivalt nõudsid
обострило — teravdas
выделиться = получить свою часть имущества

приданое — kaasavara
слободá — agul, äärelinn
внезапно = вдруг, неожиданно
перегибаясь через стол — kummardudes üle laua
скаля зубы — hambaid irvides
встряхиваться — end raputama
пустить по миру = сделать всех нищими
цыц, потятчица! — kuss, järelekiitja
оглушительно — kõrvulukustavalt

Мать встала из-за стола и, не торопясь отойдя к окну, повернулась ко всем спиною.

Вдруг дядя Михаил ударил брата наотмашь по лицу; тот взвыл, сцепился с ним, и оба покатались по полу, крипя, охая, ругаясь.

Заплакали дети; отчаянно закричала беременная тётка Наталья; моя мать потащила её куда-то, взяв в охапку; весёлая, рябая нянька Евгенья выгоняла из кухни детей; падали стулья; молодой широкоплечий подмастёрье Цыганок сел верхом на спину дяди Михайла, а мастер Григорий Иванович, плешивый, бородатый человек в тёмных очках, спокойно связывал руки дяди полотёнцем.

Вытянув шею, дядя трёся редкой чёрной бороною по полу и хрипел страшно, а дедушка, бегая вокруг стола, жалобно вскрикивал:

— Братья, а! Родная кровь! Эх вы-и...

Я ещё в начале ссоры, испугавшись, вскочил на печь и оттуда в жутком изумлении смотрел, как бабушка смывает водою из медного рукомойника кровь с разбитого лица дяди Якова; он плакал и топал ногами, а она говорила тяжёлым голосом:

— Окаянные, дикое племя, опомнитесь!

Дед, натягивая на плечо изорванную рубаху, кричал ей:

— Что, ведьма, народила зверья?

Когда дядя Яков ушёл, бабушка сунулась в угол, потрясая воя:

— Пресвятая мати божия, верни разум детям моим!

Дед встал боком к ней и, глядя на стол, где всё было опрокинуто, пролито, тихо проговорил:

— Ты, мать, гляди за ними, а то они Варвару-то изведут, чего доброго...

— Полно, бог с тобой! Сними-ка рубаху-то, я зашью...

И, сжав его голову ладонями, она поцеловала деда в

ударил наотмашь — virutas kogu jõuga	трётся, трёся) — end hõõ- guma
тот взвыл — see pistis ulguma	что, ведьма, народила зверья —
беременная тётка — rase tädi	noh, nõiamoor, oled sa küll
взять в охапку — sülle kahma- ma	metsalised ilmale toonud
широкоплечий подмастёрье — laiaõlgne sell	потрясающе воя — vapustavalt ulgudes
плешивый — küilaspäine	верни разум — anna (neile) mõistus tagasi
терётся (трусь, трётся,	известить = искалечить

лоб; он же — маленький против неё — ткнулся лицом в плечо ей.

— Надо, видно, делиться, мать...

— Надо, отец, надо!

Они говорили долго; сначала дружелюбно, а потом дед начал шаркать ногой по полу, как петух перед боем, грозил бабушке пальцем и громко шептал:

— Знаю я тебя, ты их больше любишь! А Мишка твой — езуит, а Яшка — фармазон! И пропьют они добро моё, промотают...

Неловко повернувшись на печи, я свалил утюг; загремев по ступеням влёза, он шлёпнулся в лохань с помоями. Дед впрыгнул на ступень, стащил меня и стал смотреть в лицо мне так, как будто видел меня впервые.

— Кто тебя посадил на печь? Мать?

— Я сам.

— Врёшь.

— Нет, сам. Я испугался.

Он оттолкнул меня, лёгонько ударив ладонью в лоб.

— Весь в отца! Пошёл вон...

Я был рад убежать из кухни.

Я хорошо видел, что дед следит за мною умными и зёркими зелёными глазами, и боялся его. Помню, мне всегда хотелось спрятаться от этих обжигających глаз. Мне казалось, что дед злой; он со всеми говорит насмешливо, обидно, подзадоривая и стараясь рассердить всякого.

— Эх вы-и! — часто восклицал он; долгий звук «и-и» всегда вызывал у меня скучное, зябкое чувство.

В час отдыха, во время вечернего чая, когда он, дядья и работники приходили в кухню из мастерской, усталые, с руками, окрашенными сандалом, обожжёнными купоросом, с повязанными тесёмкой волосами, все похожие на тёмные иконы в углу кухни, — в этот опасный час

ткнулся лицом в плечо ей —
vajutas näo vastu ta õlga

грозил пальцем — ähvardas sõr-
tega

езуит = здесь: хитрый, лице-
мерный

фармазон = (франкмасон) —
massoon, vabamüürlane; rahva-
keeles sõimusõnana taru.

промотать — ära priiskama, pi-
lama

лохань (ж.) — pali, vann

зёркие глаза — valvsad silmad

обжигающий — kõrvetav

подзадоривать — ärritama

зябкое чувство — külmatunne

тесёмка — pael

икона = образ (pühapilt)

дед садился против меня и, вызывая зависть других внуков, разговаривал со мною чаще, чем с ними. Весь он был склáдный, точёный, острый. Его атласный, шитый шелкáми, глухой жилёт был стар, вытерт, ситцевая рубаха измята, на коленях штанов красовались большие заплáты, а всё-таки он казался одетым и чище и красивей сыновей, носивших пиджаки, манишки и шёлковые косынки на шеях.

Через несколько дней после приезда он заставил меня учить молитвы. Все другие дети были старше и уже учились грамоте у дьячка Успенской церкви; золотые главы её были видны из окон дома. Меня учила тихонькая, пугливая тётка Наталья, женщина с детским личиком и такими прозрачными глазами, что, мне казалось, сквозь них можно было видеть всё сзади её головы. Я любил смотреть в глаза ей подолгу, не отрываясь, не мигая; она щурилась, вертела головою и просила тихонько, почти шопотом:

— Ну, говори, пожалуйста: «Отче наш, иже еси...»

И если я спрашивал: «Что такое — яко же?» — она, пугливо оглянувшись, советовала:

— Ты не спрашивай, это хуже! Просто говори за мною: «Отче наш»... Ну?

Меня беспокоило: почему спрашивать хуже? Слово «яко же» принимало скрытый смысл, и я нарочно всячески искажал его:

— «Яков же», «я в коже»...

Но бледная, словно тающая тётка терпеливо поправляла голосом, который всё прерывался у неё:

— Нет, ты говори просто: «яко же»...

Но и сама она и все её слова были не просты. Это раздражало меня, мешая запомнить молитву.

склáдный, точёный — ladus ja treitud

глухой жилёт — kinnine vest

рубаха измята — särk kortsus

большие заплáты — suured paigad

шёлковая косынка — siidkaelaraät

дьячок — köster

золотые главы — kuldsed kuplid

подолгу = долго

не отрываясь — ainiti (vaatama)

не мигая — silmi pilgutamata

она щурилась — ta pilutas silmi

„Отче наш, иже еси...“ — „Issa meie, kes sa oled...“

пугливо оглянулась — vaatas kartlikult ringi

скрытый смысл — varjatud mõte

гáять — sulama

поправлять — parandama

голос прерывался — hääl katkes

Однажды дед спросил:

— Ну, Олёшка, чего сегодня делал? Играл! Вижу по желваку на лбу. Это не велика мудрость желвак нажать!
А «Отче наш» заучил?

Тётка тихонько сказала:

— У него память плохая.

Дед усмехнулся, весело приподняв рыжие брови.

— А коли так — высьечь надо!

И снова спросил меня:

— Тебя отец сёк?

Не понимая, о чём он говорит, я промолчал, а мать сказала:

— Нет, Максим не бил его, да и мне запретил.

— Это почему же?

— Говорил, битьём не выучишь.

— Дурак он был во всём, Максим этот, покойник, прости господи! — сердито и чётко проговорил дед.

Меня обидели его слова. Он заметил это.

— Ты что губы надул? Ишь ты...

И, погладив серебристо-рыжие волосы на голове, он прибавил:

— А я вот в субботу Сашку за напёрсток пороть буду.

— Как это пороть? — спросил я.

Все засмеялись, а дед сказал:

— Погоди, увидишь...

Притаившись, я соображал: пороть — значит расшивять платья, отданные в краску, а сечь и бить — одно и то же, видимо. Бьют лошадей, собак, кошек; в Астрахани будочники бьют персиян, — это я видел. Но я никогда не видел, чтоб так били маленьких, и хотя здесь дядья щёлкали своих то по лбу, то по затылку, — дети относились к этому равнодушно, только почёсывая ушибленное место. Я не однажды спрашивал их:

желвак на лбу — muhk otsaees
не велика мудрость — pole suur
kunst

высьечь надо — (tuleb) naha
peale anda

запретил — keelas

сердито и чётко — tigatedalt ja
selgesti

ты что губы надул? — mis sa
mossitad

напёрсток — sõrmkübar

пороть — vitsahirmu andma

притаиться — varjule tõmbuma

расшивять (платья) — õmblusest
lahti harutama

щёлкать по лбу — laubale mük-
sata

равнодушно — ükskõikselt

почёсывая ушибленное место —
sügades löödud kohta

— Больно?

И всегда они храбро отвечали:

— Нет, ниско́лечко!

Шумную историю с напёрстком я знал. Вечерами, от чая до ужина, дядья́ и мастер шивали куски окра́шенной материи в одну «штуку» и пристёгивали к ней картонные ярлы́ки. Желая пошутить над полуслепым Григорием, дядя Михаил велел девятилетнему племяннику нака́лить на огне свечы́ напёрсток мастера. Саша зажал напёрсток щипца́ми для снима́ния нага́ра со свеч, сильно накалил его и, незаметно подложив под руку Григория, спрятался за печку, но как раз в этот момент пришёл дедушка, сел за работу и сам сунул палец в калёный напёрсток.

Помню, когда я прибежал в кухню на шум, дед, схватившись за ухо обожжёнными пальцами, смешно прыгал и кричал:

— Чьё дело, басурма́не?

Дядя Михаил, согнувшись над столом, гонял напёрсток пальцем и дул на него; мастер невозмутимо шил; тени прыгали по его огромной лысине; прибежал дядя Яков и, спрятавшись за угол печи́, тихонько смеялся там; бабушка тёрла на тёрке сырой картофель.

— Это Сашка Яковов устроил! — вдруг сказал дядя Михаил.

— Врёшь! — крикнул Яков, выскочив из-за печи.

А где-то в углу его сын плакал и кричал:

— Папа, не верь. Он сам меня научил!

Дядья́ начали ругаться. Дед же сразу успокоился, приложил к пальцу тёртый картофель и молча ушёл, захватив с собой меня.

Все говорили — виноват дядя Михаил. Естество́нно, что за чаем я спросил — будут ли его сечь и поро́ть?

— Надо бы, — проворчал дед, йско́са взглянув на меня.

Дядя Михаил, ударив по столу рукою, крикнул матери:

карто́нный ярлы́к — rapist nime-
sildike

племя́нник — õe-, vennapoeg

нака́лить — kuumaks ajama

нага́р — küünlatahi süsi, niiste

басурма́н — siin: põrguline

согну́вшись над столом — laua
kohale kumtardudes

невозму́тимо = спокойно

тёрла на тёрке — riivis riivil

естество́нно — loomulikult

— Варвара, уйми своего щенка, а то я ему башку сверну!

Мать сказала:

— Попробуй, тронь...

И все замолчали.

Она умела говорить краткие слова как-то так, точно отталкивала ими людей от себя, отбрасывала их, и они умалылись.

Мне было ясно, что все боятся матери; даже сам дедушка говорил с нею не так, как с другими, — тише. Это было приятно мне, и я с гордостью хвастался перед братьями:

— Моя мать — самая сильная!

Они не возражали.

Но то, что случилось в субботу, надорвало моё отношение к матери.

2

До субботы я тоже успел провиниться.

Меня очень занимало, как ловко взрослые изменяют цвета материй: берут жёлтую, мочат её в чёрной воде, и материя делается густосиней — «кубовой»; полощут серое в рыжей воде, и оно становится красноватым — «бордо». Просто, а — непонятно.

Мне захотелось самому окрасить что-нибудь, и я сказал об этом Саше Яковову, серьёзному мальчику; он всегда держался на виду у взрослых, со всеми ласковый, готовый всем и всячески услужить. Взрослые хвалили его за послушание, за ум, но дедушка смотрел на Сашу ёкоса и говорил:

— Экой подхалим!

Худенький, тёмный, с выпученными, рачьими глазами,

башка = голова
я ему башку сверну — käänap
tal kaela kahëkorra
отталкивать — eemale tõukama
они умалылись = стали меньше
не возражали — ei vaielnud
vastu
отношение — suhtumine
надорвать = изменить (отно-
шение)

провиниться — end süüga koor-
mata
меня занимало = интересовало
«кубовая» — «kuubasinine»
полоскать — loputama
смотрел ёкоса — vaatas kõõrdi
экой подхалим! — säärane pu-
geja!
выпученные рачьи глаза — rip-
gis vähjasilmad

Саша Яковов говорил торопливо, тихо, захлёбываясь словами, и всегда таинственно оглядывался, точно собираясь бежать куда-то, спрятаться. Карие зрачки его были неподвижны, но, когда он возбуждался, дрожали вместе с белками.

Он был неприятен мне. Мне гораздо больше нравился малозаметный увалень Саша Михайлов, мальчик тихий, с печальными глазами и хорошей улыбкой, очень похожий на свою короткую мать. У него были некрасивые зубы; они высобывались изо рта и в верхней челюсти росли двумя рядами. Это очень занимало его; он постоянно держал во рту пальцы, раскачивая, пытаясь выдернуть зубы заднего ряда, и покорно позволял щупать их каждому, кто желал. Но ничего более интересного я не находил в нём. В доме, битком набитом людьми, он жил одиноко, любил сидеть в полутёмных углах, а вечером у окна. С ним хорошо было молчать — сидеть у окна, тесно прижавшись к нему, и молчать целый час, глядя, как в красном вечернем небе вокруг золотых лукович Успенского храма вьются-мечутся чёрные галки, взмывают высоко вверх, падают вниз и, вдруг, покрыв угасающее небо чёрною сетью, исчезают куда-то, оставив за собою пустоту. Когда смотришь на это, говорить не о чём не хочется, и приятная скука наполняет грудь.

А Саша дяди Якова мог обо всём говорить много и солидно, как взрослый. Узнав, что я желаю заняться ремеслом красильщика, он посоветовал мне взять из шкапа белую праздничную скатерть и окрасить её в синий цвет.

— Белое всего легче красится, уж я знаю! — сказал он очень серьёзно.

Я вытащил тяжёлую скатерть, выбежал с нею на двор, но когда опустил край её в чан с «кубовой», на меня

захлёбываясь словами — sõnu kugistades

карие зрачки — mustjas-pruunid silmaterad

белки — silmavalged

был неприятен = не нравился увалень (м.) = лентяй

высбывались изо рта — (hambad) tungisid suust välja

верхняя челюсть — ülemine lõualuu

покорно — alandlikult

битком набитый людьми — inimestega täistuubitud (maja)

золотые луковичы (храма) — kuldsibulad, -kuplid

вьются-мечутся галки — keerlevad ja liuglevad hakid

взмывают вверх — paiskuvad üles

угасающее небо — kustuv taevas

налетел откуда-то Цыганок, вырвал скатерть и, отжимая её широкими лапами, крикнул брату, следившему из сеней за моею работой:

— Зови бабушку скорее!

И, зловеще качая чёрной, лохматой головою, сказал мне:

— Ну, и попадёт же тебе за это!

Прибежала бабушка, заохала, даже заплакала, смешно ругая меня:

— Ах ты, пермяк, солёны уши! Чтоб те приподняло да шлёпнуло!

Потом стала уговаривать Цыганка:

— Уж ты, Ваня, не сказывай дедушке-то! Уж я спрячу дело; авось, обойдётся как-нибудь...

Ванька озабоченно говорил, вытирая мокрые руки разноцветным передником:

— Мне что? Я не скажу; глядите, Сашутка не најбедничал бы!

— Я ему семйшник дам, — сказала бабушка, уводя меня в дом.

В субботу, перед всёнощной кто-то привёл меня в кухню; там было темно и тихо. Помню плотно прикрытые двери в сени и в комнаты, а за окнами серую муть осеннего вечера, шорох дождя. Перед чёрным челом печи на широкой скамье сидел сердитый, не похожий на себя Цыганок; дедушка, стоя в углу у лохани, выбирал из ведра с водою длинные прутья, мерял их, складывая один с другим, и со свистом размахивал ими по воздуху. Бабушка, стоя где-то в темноте, громко нюхала табак и ворчала:

— Ра-ад... мучитель...

Саша Яковов, сидя на стуле среди кухни, тёр кулаками глаза и не своим голосом, точно старенький нищий, тянул:

скатерть (ж.) — laudlina
отжимать — (laudlinast) vett
väänapa
зловеще — pahaendeliselt
ну, и попадёт же тебе! — aga
sa nüüd saad!
чтоб те шлёпнуло! — et sa ma-
ha potsataksid!
ябедничать — keelt kandma
семйшник = монета в две ко-
пейки

всёнощная — õhtune jumalateen-
nistus
плотно прикрытые двери — hoo-
likalt suletud ukсед
серая муть — hall hämu
челó = лоб (laup, siin: ahju-
suu)
длинные прутья — pikad vitsad
рад, мучитель — rõõmustad, pi-
paja

— Простите Христа ради...

Как деревянные, стояли за стулом дети дяди Михаила, брат и сестра, плечом к плечу.

— Высеку — прошу, — сказал дедушка, пропуская длинный влажный прут сквозь кулак. — Ну-ка, снимай штаны-то!..

Говорил он спокойно, и ни звук его голоса, ни возня мальчика на скрипучем стуле, ни шарканье ног бабушки — ничто не нарушало памятной тишины в сумраке кухни, под низким закопчённым потолком.

Саша встал, расстегнул штаны, спустил их до колен и, поддерживая руками, согнувшись, спотыкаясь, пошёл к скамье. Смотреть, как он идёт, было нехорошо, у меня тоже дрожали ноги.

Но стало ещё хуже, когда он покорно лёг на скамью вниз лицом, а Ванька, привязав его к скамье подмышки и за шею широким полотенцем, наклонился над ним и схватил чёрными руками ноги его у щиколоток.

— Алексей, — позвал дед, — иди ближе!.. Ну, кому говорю?.. Вот гляди, как секут... Раз!..

Невысоко взмахнув рукой, он хлопнул прutom по голому телу. Саша взвизгнул.

— Врёшь, — сказал дед, — это не больно! А вот так больней!

И ударил так, что на теле сразу загорелась, вспухла красная полоса, а брат протяжно завыл.

— Не сладко? — спрашивал дед, равномерно поднимая и опуская руку. — Не любишь? Это за напёрсток!

Когда он взмахивал рукой, в груди у меня всё поднималось вместе с нею; падала рука — и я весь точно падал.

Саша визжал страшно тонко, противно:

— Не буду-у... Ведь я же сказал про скатерть... Ведь я сказал...

Спокойно, точно псалтирь читая, дед говорил:

влажный прут — niiske (ligunenud) vits
закопчённый потолок — suitsepid lagi
расстегнул штаны — pöõpis püksid lahti
пошёл спотыкаясь — läks komistades

схватил у щиколоток — haaras pahkludest kinni
загорелась красная полоса — löi veretama punane vörv
равномерно — korrapäraselt
псалтирь (м.) — Taaveti laulu- raamat, mille järgi vanasti õpetati lapsi lugema

— Донос — не оправданы! Доносчику первый кнут. Вот тебе за скатерть!

Бабушка кинулась ко мне и схватила меня на руки, закричав:

— Лексея не дам! Не дам, изверг!

Она стала бить ногою в дверь, призывая:

— Варя, Варвара!..

Дед бросился к ней, сшиб её с ног, вихватил меня и понёс к лавке. Я бился в руках у него, дергал рыжую бороду, укусил ему палец. Он орал, тискал меня и наконец бросил на лавку, разбив мне лицо. Помню дикий его крик:

— Привязывай! Убью!..

Помню белое лицо матери и её огромные глаза. Она бегала вдоль лавки и хрипела:

— Папаша, не надо!.. Отдайте!..

Дед засёк меня до потери сознания, и несколько дней я хворал, валяясь вверх спиною на широкой жаркой постели в маленькой комнате с одним окном и красной, неугасимой лампадой в углу пред киотом со множеством икон.

Дни нездоровья были для меня большими днями жизни. В течение их я, должно быть, сильно вырос и почувствовал что-то особенное. С тех дней у меня явилось беспокойное внимание к людям, и, точно мне содрали кожу с сердца, оно стало невыносимо чутким ко всякой обиде и боли, своей и чужой.

Прежде всего, меня очень поразила ссора бабушки с матерью: в тесноте комнаты бабушка, чёрная и большая, лезла на мать, заталкивая её в угол, к образам, и шипела:

— Ты что не отняла его, а?

— Испугалась я.

— Эдакая-то здоровенная! Стыдись, Варвара! Я — старуха, да не боюсь! Стыдись!..

донос — pealekaebamine
изверг — metsaline
я бился — ma gabelesin
он орал, тискал меня — ta rõõ-
kis, pigistas mind
до потери сознания — mee-
märkuse kaotuseni
киот = ящик со стеклом для
икон

точно содрали кожу — nagu
oleks nahk maha nūlitud
невыносимо чуткий — talumatult
hell
меня поразила — mind rabas
образ = икона — pūhapilt
эдакая-то здоровенная! — ise
säärane mürakas!

— Отстаньте, мамаша: тошно мне...

— Нет, не любишь ты его, не жаль тебе сироту!

Мать сказала тяжело и громко:

— Я сама на всю жизнь сиротá!

Потом они обе долго плакали, сидя в углу на сундуке, и мать говорила:

— Если бы не Алексей, ушла бы я, уехала! Не могу жить в адú этом, не могу, мамаша! Сил нет...

— Кровь ты моя, сердце моё, — шептала бабушка.

Я запомнил: мать — не сильная; она, как все, боится деда. Я мешаю ей уйти из дома, где она не может жить. Это было очень грустно. Вскоре мать действительно исчезла из дома. Уехала куда-то гостить.

3

Как-то вдруг, точно с потолка прыгнув, явился дедушка, сел на кровать, пощупал мне голову холодной, как лёд, рукою:

— Здравствуй, сударь... Да ты ответь, не сердись!.. Ну, что ли?..

Очень хотелось ударить его ногой, но было больно пошевелиться. Он казался ещё более рыжим, чем был раньше; голова его беспокойно качалась; яркие глаза искали чего-то на стене. Вынув из кармана пряничного козла, два сахарных рожка, яблоко и ветку синего изюма, он положил всё это на подушку, к носу моему.

— Вот, видишь, я тебе гостинца принёс!

Нагнувшись, поцеловал меня в лоб; потом заговорил, тихо поглаживая голову мою маленькой, жёсткой рукою, окрашенной в жёлтый цвет, особенно заметный на кри-вых, птичьих ногтях.

— Я тебя тогда перетовó, брат. Разгорячился очень; укусил ты меня, царапал, ну, и я тоже рассердился! Однако не беда, что ты лишнее перетерпёл, — в зачёт пойдёт! Ты знай: когда свой, родной бьёт — это не обида,

тошно мне — *siin: mul on vas-tik*

жить в этом адú — *elada selles põigus*

пощупал мне голову — *katsus mu pead*

сударь (м.) — *(armuline) härra*

сахарный рожок — *suhkrusarv*

ветка синего изюма — *oksake siniseid rosinaid*

гостинец — *külakost*

я тебя тогда перетовó — *and-sin sulle tookord ülemäära*

в зачёт пойдёт — *läheb arvesse*

а наука! Чужому не давайся, а свой ничего! Ты думаешь, меня не били? Меня, Олёша, так били, что ты этого и в страшном сне не увидишь. Меня так обижали, что, поди-ка, сам господь бог глядел — плакал! А что вышло? Сиротá, нищей матери сын, я вот дошёл до своего места, — старшиной цёховым сделан, начальник людям.

Привалившись ко мне сухим склáдным телом, он стал рассказывать о детских своих днях словами крепкими и тяжёлыми, складывая их одно с другим легко и ловко.

Его зелёные глаза ярко разгорелись, и, весело ощётнившись золотым волосом, сгустив высокий свой голос, он трубил в лицо мне:

— Ты вот пароходом прибыл, пар тебя вёз, а я в молодости сам, своей силой супротив Волги бáржи тянул. Бáржа — по воде, я — по бережку, бос, по острому камню, по бсыпам, да так от восхода солнца до ночи! Накалит солнышко затылок-то, голова, как чугу́н, кипит, а ты, согнувшись в три погíбели, — косточки скрипят, — идёшь да идёшь, и пути не видать, глаза потом залило, а душа-то плачется, а слезá-то катится, — эхма, Олёша, помáлкивай! Идёшь, идёшь, да из лямки-то и вывалишься, мórдой в землю — и тому рад; стало быть, вся сила чисто вышла, хоть отдыха́й, хоть издыха́й! Вот как жили у бога на глазах, у милостивого господа Иисуса Христа!.. Да так-то я трижды Волгу-мать вымерял: от Симбирского до Рыбинска, от Саратова досюдова да от Астрахани до Макарьева, до ярмарки, — в этом многие тысячи вёрст! А на четвёртый год уж и водоли́вом пошёл, — показал хозяину рáзум свой!..

Говорил он и — быстро, как облако, рос предо мною, превращаясь из маленького, сухого старичка в человека силы сказочной, — он один ведёт против реки огромную, серую баржу...

Иногда он соска́кивал с постели и, размахивая руками,

цёховый старшина — tsehhi
(sumpti) vanem

склáдное тéло — sihvakas keha

сгустив свой высо́кий голос —
madaldades oma heledat häält

он трубил — ta pasundas

супротив Волги = против тече-
ния

по бсыпам — mööda rusukaldeid

согнувшись в три погíбели —
kolme kanti kõveras

эхма, помáлкивай = лучше уж
не говори

из лямки вывалишься — libised
veokõie vahelt välja

отдыха́й или издыха́й — kas
puhka või kārva

водоли́в = старший в артели
бурлаков

показывал мне, как ходят бурлаки в лямках, как откачивают воду; пел баском какие-то песни, потом снова молодо прыгал на кровать и, весь удивительный, ещё более густо, крепко говорил:

— Ну, зато, Олёша, на привале, на отдыхе, летним вечером, в Жигулях, где-нибудь под зелёной горой поразложим костры — кашницу варить, да как заведёт горевой бурлак сердечную песню, да как вступится, грянет вся артель — аж мороз по коже дёрнет, и будто Волга вся быстрее пойдёт, — так бы, чай, конём и встала на дыбы, до самых облаков! И всякое горе — как пыль по ветру; до того люди запевались, что, бывало, и каша вон из котла бежит; тут кашевара по лбу полóвником надо бить: играй, как хошь, а дело помни!

Несколько раз в дверь заглядывали, звали его, но я просил:

— Не уходи!

Он, усмехаясь, отмахивался от людей:

— Погодите, там...

Рассказывал он вплоть до вечера, и, когда ушёл, ласково простясь со мной, я знал, что дедушка не злой и не страшен. Мне до слёз трудно было вспоминать, что это он так жестоко избил меня, но и забыть об этом я не мог.

IV

... Однажды, когда бабушка стояла на коленях, сердечно беседуя с богом, дед, распахнув дверь в комнату, сильным голосом сказал:

— Ну, мать, посетил нас господь, — горим!

— Да что ты! — крикнула бабушка, вскíнувшись с пола, и оба, тяжело топая, бросились в темноту большой парадной комнаты.

— Евгенья, снимай иконы! Наталья, одевай ребят! — строго, крепким голосом командовала бабушка, а дед тихонько выл:

— И-и-ы...

привал = остановка для отдыха

горевой бурлак = бедный

конём встала на дыбы — ajas
end tákuna püsti

полóвник — kulp

так жестоко избил — nii julmalt
peksis

сильным голосом — käriseva hää-
lega

Я выбежал в кухню; окно на двор сверкало точно золотое; по полу текли-скользили жёлтые пятна; босой дядя Яков, обувая сапоги, прыгал на них, точно ему жгло подошвы, и кричал:

— Это Мишка поджѣг, поджѣг да ушѣл, ага!

— Цыц, пѣс, — сказала бабушка, толкнув его к двери так, что он едва не упал.

Сквозь иней на стѣклах было видно, как горит крыша мастерской, а за открытой дверью её вихрится кудрявый огонь. В тихой ночи красные цветы его цвели бездымно; лишь очень высоко над ними колебалось темноватое облако, не мешая видеть серебряный поток Млечного Пути. Багрово светился снег, и стены пострѣок дрожали, качались, как будто стремясь в жаркий угол двора, где весело играл огонь, заливая красным широкие щѣли в стене мастерской, высовываясь из них раскалёнными кривыми гвоздями. По тѣмным доскам сухой крыши, быстро опутывая её, извивались золотые, красные лѣнты; среди них крикливо торчала и курилась дымом гончарная тонкая труба; тихий треск; шёлковый шелест бился в стѣкла окна; огонь всё разрастался; мастерская, изукрашенная им, становилась похожа на иконостас в церкви и непобедимо выманивала ближе к себе.

Накинув на голову тяжѣлый полушубок, сунув ноги в чьи-то сапоги, я выволокся в сени, на крыльцо и обомлѣл, ослеплённый яркой игрой огня, оглушённый криками деда, Григория, дяди, треском пожара, испуганный поведением бабушки: накинув на голову пустой мешок, обернувшись попойкой, она бежала прямо в огонь и сунулась в него, вскрикивая:

обувая сапоги — saapaid jalga
tõmmates

жгло подошвы — põletas jala-
taldu

Мишка поджѣг — Miška süü-
tas põlema

вихрится огонь — tuhinal keer-
leb tuli

серебряный поток Млечного
Пути — Linnutee hõbedane
võõt

опутывать — (leekidesse) mäs-
sima

извивались лѣнты — vingerdasid
lindid

курилась дымом гончарная тру-
ба — savikorsten ajas tuhinal
suitsu välja

огонь всё разрастался — tuli
üha paisus

иконостас — altarisein
выманивала ближе к себе —
meelitas enda poole

я выволокся — ma lohistasin
end välja

я обомлѣл — ma tardusin

ослеплённый — olles pimestatud

обернувшись попойкой — mäs-
situd end hobusetekki

— Купорос, дураки! Взорвёт купорос . . .

— Григорий, держи её! — выл дедушка. — Ой, пропала . . .

Но бабушка уже вынырнула, вся дымясь, мотая головой, согнувшись, неся на вытянутых руках ведёрную бутылку купоросного масла.

— Отец, лошадь выведи! — хрипя, кашляя, кричала она. — Снимите с плеч-то, — горю, али не видно? . . .

Григорий сорвал с плеч её тлѣвшую попо́ну и, переламываясь пополам, стал метать лопатою в дверь мастерской большие ко́мья снега; дядя прыгал около него с топором в руках; дед бежал около бабушки, бросая в неё снегом; она сунула бутылку в сугрób, бросилась к воротам, отворила их и, кланяясь вбежавшим людям, говорила:

— Амбáр, соседи, отстаивайте! Перекинётся огонь на амбáр, на сенова́л, — наше всё дотла́ сгорит, и ваше займётся! Рубите крышу, сено — в сад! Григорий, сверху бросай, что ты на землю-то мечешь! Яков, не суетись, давай топоры́ людям, лопаты! Батюшки-соседи, беритесь дружней, — бог вам на́ помочь.

Она была так же интересна, как и пожар: освещаемая огнём, который словно ловил её, чёрную, она металась по двору, всюду поспева́я, всем распоряжа́ясь, всё видя.

На двор выбежал Шарáп, вскидываясь на дыбы́, подбрасывая деда; огонь ударил в его большие глаза, они красно сверкну́ли; лошадь захрапела, упёрлась передними ногами; дедушка выпустил повод из рук и отпрыгнул, крикнув:

— Мать, держи́!

Она бросилась под ноги взвѣвшегося коня, встала перед ним крестом; конь жалобно заржа́л, потянулся к ней, косясь на пламя.

— А ты не бойся! — ба́сом сказала бабушка, похло-

взорвёт купорос — vitriol plah-
vatab

она вынырнула — ta sukeldus
(tulest) välja

амбар отстаивайте — päästke
ait!

на сеновал — heinalakka

сгорит дотла́ — põleb maani ma-
ha

и ваше займётся — ja teiegi
hooned võtavad tuld

всем распоряжа́ясь — kõiki kã-
sutades

вскидываясь на дыбы́ — end
püsti ajades

жа́лобно заржа́л — hakkas kaeb-
likult hirnuma

пывая его по шее и взяв повод. — Али я тебя оставлю в страхе этом? Ох ты, мышонок...

Мышонок, втрое больший её, покорно шёл за нею к воротам и фыркал, оглядывая красное её лицо.

Нянька Евгенья вывела из дома закутанных, глухо мычавших детей и закричала:

— Василий Васильч, Лексея нет...

— Пошла, пошла! — ответил дедушка, махая рукой, а я спрятался под ступени крыльца, чтобы нянька не увела и меня.

Крыша мастерской уже провалилась; торчали в небо тонкие жёрди стропил, курясь дымом, сверкая золотом углём; внутри постройки с воем и треском взрывались зелёные, синие, красные вихри, пламя снопами выкидывалось на двор, на людей, толпившихся пред огромным костром, кидая в него снег лопатами. В огне яростно кипели котлы, густым облаком поднимался пар и дым, странные запахи носились по двору, выжимая слёзы из глаз; я выбрался из-под крыльца и попал под ноги бабушке.

— Уйди! — крикнула она. — Задавят, уйди...

На двор ворвался верховой в медной шапке с гребнем. Рыжая лошадь брызгала пеной, а он, высоко подняв руку с плёткой, орал, грозя:

— Раздайсь!

Весело и торопливо звенели колокольчики, всё было празднично красиво. Бабушка толкнула меня на крыльцо:

— Я кому говорю? Уйди!

Нельзя было не послушать её в этот час. Я ушёл в кухню, снова прильнул к стеклу окна, но за тёмной кучей людей уже не видно огня, — только медные шлемы сверкают среди зимних чёрных шапок и картузов.

Огонь быстро придавили к земле, залили, затоптали, полиция разогнала народ, и в кухню вошла бабушка.

— Это кто! Ты-и? Не спишь, боишься? Не бойся, всё уж кончилось...

Села рядом со мною и замолчала, покачиваясь. Было

жёрди стропил — goovlatid
пламя снопами выкидывалось
на двор — leek paiskus vih-
kudena õuele
задавят — tallavad surnuks

на двор ворвался верховой — õue kihutas ratsanik
раздайсь! — tee vabaks!
прильнул к стеклу окна — surus
end vastu aknaklaasi
медный шлем — vaskkiiver

хорошо, что снова воротилась тихая ночь, темнота; но и огня было жалко.

Дед вошёл, остановился у порога и спросил:

— Мать?

— Ой?

— Обожглась?

— Ничего.

Он зажжёт серную спичку, осветив синим огнём своё лицо хорькá, измáзанное сáжей, высмотрел свечу на столе и не торопясь сел рядом с бабушкой.

— Умылся бы, — сказала она, тоже вся в сáже, пропáхшая ёдким дымом.

Дед вздохнул:

— Милостив господь бывает до тебя, большой тебе рáзум даёт...

И, погладив её по плечу, добавил, оскáлив зубы:

— На краткое время, на час, а даёт!..

Бабушка тоже усмехнулась, хотела что-то сказать, но дед нахмурился.

— Григория рассчитать надо — это его недосмóтр! На крыльце Яшка сидит, плачет, дурак... Пошла бы ты к нему...

Она встала и ушла, держа руку перед лицом, дую на пальцы, а дед, не глядя на меня, тихо спросил:

— Весь пожар видел, с начала? Бабушка-то как, а? Старуха ведь... Бита, ломана... То-то же! Эх вы-и...

Согнулся и долго молчал, потом встал и, снимая нагáр со свечи пальцами, снова спросил:

— Боялся ты?

— Нет.

— И не́чего бояться...

Сердито сдёрнув с плеч рубаху, он пошёл в угол, к рукомойнику, и там, в темноте, тóпнув ногою, громко сказал:

— Пожар — глупость! За пожар кнутóm на площади надо бить погорéльца; он — дурак, а то — вор! Вот как надо делать, и не будет пожаров!..

Дверь очень медленно открылась, в комнату вползла

лицо хорькá — tuhkrunägu
вся в сáже — üleni põgine
пропáхшая ёдким дымом —
mõrkja suitsulõhnaga läbi im-
binud

рассчитать надо — tarvis lahti
lasta
погорéлец — põlenü

бабушка, притворила дверь плечом, прислонилась к ней спиною и, протянув руки к синему огоньку неугасимой лампы, тихо, по-детски жалобно, сказала:

— Рученьки мои, рученьки больно . . .

V

I

К весне дядья разделились; Яков остался в городе. Михаил уехал за реку, а дед купил себе большой интересный дом на Полевой улице, с кабаком в нижнем каменном этаже, с маленькой уютной комнаткой на чердаке и садом, который опускался в овраг, густо оцетившийся голыми прутьями ивняка.

— Розог-то! — сказал дед, весело подмигнув мне, когда, осматривая сад, я шёл с ним по мягким, протаявшим дорожкам. — Вот я тебя скоро грамоте начну учить, так они годятся . . .

Весь дом был тесно набит квартирантами; только в верхнем этаже дед оставил большую комнату для себя и приёма гостей, а бабушка поселилась со мною на чердаке. Окно его выходило на улицу, и, перегнувшись через подоконник, можно было видеть, как вечерами и по праздникам из кабака вылезают пьяные, шатаясь, идут по улице, орут и падают. Иногда их выкидывали на дорогу, словно мешки, а они снова ломились в дверь кабака; она хлопала, дребезжала, взвизгивал блок, начиналась драка, — смотреть на всё это сверху было очень занятно. Дед с утра уезжал в мастерские сыновей, помогая им устроиться; он возвращался вечером усталый, угнетённый, сердитый.

Бабушка стряпала, шила, копалась в огороде и в саду, вертелась целый день, точно огромный кубарь, подгоняемый невидимой плёткой, нюхала табачок, чихала смачно и говорила, отирая потное лицо:

— Здравствуй, мир честной, во веки веков! Ну, вот,

уютная комнатка —	mugav	поселилась на чердаке —	asus
kambrike		röbningukambrisse	
прутья ивняка —	pajuvösa	подоконник —	aknalaud
розог-то! —	kus ikka viitsu!	очень занятно =	интересно
тесно набит квартирантами —		стряпать —	toitu valmistama
otsast otsani üürnikke täis		кубарь (м.) =	юла (vurrkann)

Олёша, голубá душа, зажили мы тихо-о! Слава те, царíца небёсная, уж так-то ли хорошо стало всё!

А мне не казалось, что мы живём тихо; с утра до позднего вечера на дворе и в доме суматошно бегали квартирантки, то и дело являлись соседки, все куда-то торопились и, всегда опаздывая, охали, все готовились к чему-то и звали:

— Акули́на Ивановна!

Она служила повиту́хой, разбира́ла семейные ссоры и споры, лечи́ла детей, сказывала наизу́сть «Сон богородицы», чтобы женщины заучивали его «на счастье», давала хозяйственные советы:

— Огурец сам скажет, когда его солить порá; ежели он перестал землёй и всякими чужими запахами пахнуть, тут вы его и берите. Квас нужно обидеть, чтобы ядрён был, разъяри́лся; квас сладкого не любит, так вы его изи́омцем запра́вьте, а то сахару бросьте, золоти́к на ведро. Варенцы́ делают разно: есть дунайский вкус и гишпанский, а то ещё — кавказский...

Я весь день вертелся около неё в саду, на дворе, ходил к соседкам, где она часами пила чай, непрерывно рассказывая всякие истории; я как бы прирос к ней и не помню, чтоб в эту пору жизни видел что-либо иное, кроме неугомо́нной, неустанно доброй старухи.

Иногда, на краткое время, являлась откуда-то мать; го́рдая, строгая, она смотрела на всё холодными серыми глазами, как зимнее солнце, и быстро исчезала, не оставляя воспоминаний о себе.

2

Помню, был тихий вечер; мы с бабушкой пили чай в комнате деда; он был нездоров, сидел на постели без рубахи, накрыв плечи длинным полотенцем, и, ежеминутно отирая обильный пот, дышал часто, хри́пло. Зелёные глаза его помутнели, лицо опухло, побагровело, особенно багровы были маленькие острые уши. Когда он протягивал руку за чашкой чая, рука жалобно тряслась. Был он кро́ток и не похож на себя.

было суматошно — oli alatine möll

повиту́ха — ämmamoor

чтоб ядрён был — et ta läheks hästi vahule

варенцы́ (варене́ц) — roog küp-

setatud ja hapendatud täispiimast

приро́с к ней — (olin) tema külge otsekui kinni kasvanud

неугомо́нный — raugematu

кро́ток — tasane

В саду, вокруг берёз, гудя, летали жуки, бондάρь работал на соседнем дворе, где-то близко точили ножи; за садом, в овраге, шумно возились ребяτίшки, путаясь среди густых кустов. Очень манило на волю, вечерняя грусть вливалась в сердце.

Вдруг дедушка, достав откуда-то новенькую книжку, громко шлёпнул ею по ладо́ни и бо́дро позвал меня:

— Ну-ка, ты, пермяк, солёны уши, поди сюда! Садись, скула́ калмы́цкая. Видишь фигу́ру? Это — аз¹. Говори: аз! Буки! Веди! Это — что?

— Буки.

— Попал! Это?

— Веди.

— Врёшь, аз! Гляди: глаголь, добро, есть, — это что?

— Добро.

— Попал! Это?

— Глаголь.

— Верно! А это?

— Аз.

Вступилась бабушка:

— Лежал бы ты, отец, смирно...

— Стой, молчи. Это мне в по́ру, а то меня мысли одолева́ют. Валяй, Лексей!

Он обнял меня за шею горячей, влажной рукою и через плечо моё тыкал пальцем в буквы, держа книжку под носом моим. От него жарко пахло у́ксусом, по́том и печёным луком, я почти задыхался, а он, приходя в ярость, хрипел и кричал в ухо мне:

— Земля! Люди!

Слова были знакомы, но славянские знаки не отвечали им: «земля» походила на червяка́, «глаголь» — на суту́лого Григория, «я» — на бабушку со мною, а в дедушке было что-то общее со всеми буквами азбуки. Он долго

бондάρь (м.) — aamissepp
манить — meelitama, ahvatlema
скула́ калмы́цкая — kalmõki põ-
senukk
это мне в по́ру — see on mulle
praegu just paras

мысли одолева́ют — mõtted kas-
vavad üle pea
валяй! — lase käia!
от него па́хло у́ксусом — temast
hoovas äädikalõhna

¹ Старинные (славянские) названия букв на русском языке: аз — а, буки — б (отсюда азбука — букварь, алфавит), веди — в, глаголь — г, добро — д и т. д.

гонял меня по алфавиту, спрашивая и в ряд и вразбівку; он заразїл меня своей горячей яростью, я тоже вспотел и кричал во всё горло. Это сместило его; хватаясь за грудь, кашляя, он мял книгу и хрипел:

— Мать, ты гляди, как взвился, а? Ах, лихорадка астраханская, чего ты орёшь, чего?

— Это вы кричите...

Мне весело было смотреть на него и на бабушку: она, облокотясь о стол, упираясь кулаком в щёки, смотрела на нас и негромко смеялась, говоря:

— Да будет вам надрываться-то!..

Дед объяснял мне дружески:

— Я кричу, потому что я нездоробый, а ты чего?

И говорил бабушке, встряхивая мокрой головою:

— А неверно поняла покойница Наталья, что памяти у него нету; память, слава богу, лошадиная! Вали дальше, курнос!

Наконец он шутливо толкнул меня с кровати.

— Будет! Держи книжку. Завтра ты мне всю азбуку без ошибки скажешь, и за это я тебе дам пятак...

Грамота давалась мне легко, дедушка смотрел на меня всё внимательнее и всё реже сёл, хотя, по моим соображениям, сечь меня следовало чаще прежнего: становясь взрослее и бойчей, я гораздо чаще стал нарушать дедовы правила и наказы, а он только ругался да замахивался на меня.

Мне подумалось, что, пожалуй, раньше-то он меня напрасно бил, и я однажды сказал ему это.

Лёгким толчком в подбородок он приподнял голову мою и, мигая, протянул:

— Чего-о?

И дробно засмеялся, говоря:

— Ах ты, еретик! Да как ты можешь сосчитать, сколь-

и в ряд и в разбівку — küll
järjestikku, küll läbisegi
он заразїл меня — ta nakatas
mind
горячей яростью — tulise innuga
что сместило его — see tegi talle
palja
как взвился! — kuidas perutab!
лихорадка — pälavik
надрываться — end rebestama

покойница — kadunuke
курнос — nõsunina
по моим соображениям — minu
arusaamise järgi
взрослее и бойчей — (saades)
suuremaks ja südimaks
правила и наказы — käsud ja
määrused
подбородок — lõug
ах ты, еретик! — ah sa ketser!

ко тебя сечь надобно? Кто может знать это, кроме меня? Сгинь, пошёл!

Но тотчас же схватил меня за плечо и снова, заглянув в глаза, спросил:

— Хитёр ты али простодушен, а?

— Не знаю...

— Не знаешь? Ну, так я тебе скажу: будь хитёр, это лучше, а простодушность — та же глупость, понял? Баран простодушен. Запомни! Айда, гуляй...

Вскоре я уже читал по складам псалтирь; обыкновенно этим занимались после вечернего чая, и каждый раз я должен был прочитать псалом.

— *Буки-люди-аз-ла-бла; живе-те-иже-же-блаже; наш-ер-блажен*, — выговаривал я, вода ука́зкой по странице.

Дед, видимо, забыв обо мне, ворчал:

— И-да, по игре да песням он — царь Давид, а по делам — Авессалом¹ ядовит! Песнотворец, словотёр, балагёр... Эх вы-и!

Я переставал читать, прислушиваясь, поглядывая в его хмурое, озабоченное лицо; глаза его, прищурясь, смотрели куда-то через меня, в них светилось грустное, тёплое чувство, и я уже знал, что сейчас обычная суровость деда тает в нём. Он дробно стучал тонкими пальцами по столу, блестели окрашенные ногти, шевелились золотые брови.

— Дедушка!

— Ась?

— Расскажите что-нибудь.

— А ты читай, ленивый мужик! — ворчливо говорил он, точно проснувшись, протирая пальцами глаза. — Побасёнки любишь, а псалтирь не любишь...

сгинь, пошёл! — tee, et sa
kaod!

хитёр ты или простодушен? —
kas oled kaval või lihtsameel-
ne?

псалом — salm

песнотворец, словотёр, балагёр
— salmitaguja, sõnasepp, vi-
gurimees

протира́ть глаза́ — silmi hõõ-
ruga

побасёнка — lorijutt

¹ Авессалом — сын древнееврейского царя Давида, восставший против отца с целью захватить его престол.

Я очень рано понял, что у деда — один бог, а у бабушки — другой.

Бывало — проснётся бабушка, долго, сидя на кровати, чешет гребнем свои удивительные волосы, дёргает головою, вырывает, сцепив зубы, целые пряди длинных чёрных шелковинок и ругается шопотом, чтоб не разбудить меня:

— А, пострели вас! Колтун вам, окайнные...

Кое-как распутав их, она быстро заплетает толстые косы, умывается наскоро, сердито фыркая, и, не смыв раздражения с большого, измятого сном лица, встаёт перед иконами, — вот тогда и начиналось настоящее утреннее омовение, сразу освежавшее всю её.

Выпрямив сутулую спину, вскинув голову, ласково глядя на круглое лицо Казанской божией матери, она широко, истоиво крестилась и шумно, горячо шептала:

— Богородица преславная, подай милости твоя на грядущий день, матушка!

Кланялась до земли, разгибала спину медленно и снова шептала всё горячее и умиленнее:

— Радости источник, красавица пречистая, яблоня во цветуй!..

Она почти каждое утро находила новые слова хвалы, и это всегда заставляло меня вслушиваться в молитву её с напряжённым вниманием.

— Сердечушко моё чистое, небесное! Защита моя и покров, солнышко золотое, мати господня, охрани от на-

вырывает целые пряди — kisub
tervete salkude kaupa välja
шелковинок — siidised kiud
а, пострели вас! — oh võtku
teid küll!

колтун = болезнь волос, при
которой они спутываются в
одну массу.

окайнные — neetud

распутать — lahti harutama

измятое сном лицо — uneähmane
nägu

утреннее омовение — hommikune
pesemine

широко, истоиво крестилась — löi
laialt ja ägedasti risti ette

богородица преславная — kõr-
gestikiidetud jumalaema

грядущий = начинающийся (день)

горячей и умиленнее — tulise-
malt ja hardamalt

защита моя и покров — sa mu
kaitse ja kate

важдёния злого, не дай обидеть никого, и меня бы не обижали зря!

С улыбкой в тёмных глазах и как будто помолодévшая, она снова крестíлась медленными движениями тяжёлой руки.

— Иисусе Христе, сыне божий, буди милостив ко мне, грёшнице, матери твоя ради...

Всегда её молитва была ака́фистом, хвало́ю йскренней и простоду́шной.

Утром она молилась недолго: нужно было ставить самовар, прислúги дед уже не держал, и, если бабушка опáздывала приготовить чай к сроку, устанóвленному им, он долго и сердито ругался.

Иногда он, проснóвшись раньше бабушки, всходил на чердак и, заставая её за молитвой, слушал некоторое время её шóпот, презрительно кривя тонкие, тёмные губы, а за чаем ворчал:

— Сколько я тебя, дубóвая голова, учил, как надобно молиться, а ты всё бормóчешь, еретица! Как только тёрпит тебя господь!

— Он поймёт, — увéренно отвечала бабушка. — Ему что ни говори — он разберёт...

— Чува́ша прокля́тая! Эх вы-и...

Её бог был весь день с нею, она даже животным говорила о нём. Мне было ясно, что этому богу легко и покóрно подчиняется всё: люди, собаки, птицы, пчёлы и травы; он ко всему на земле был одинаково добр, одинаково б́лизок.

Однажды балóванный кот каба́тчицы, хитрый сластёна и подхалим, д́ымчатый, золотогла́зый, любímeц всего двора, притащил из сада скворца́; бабушка отняла измúченную птицу и стала упрекать кота:

— Бога ты не боишься, злодей по́длый!

охранí от наваждёния злого —
hoia, et mind kuri ei kiusaks
зря = напрасно — (asjatult)
ака́фист = хвалёбное церкóвное
песнопёние
хвала́ йскренняя и простоду́шная
— siiras ja lihtsameelne ülistus
прислúга — teenija, ümmardaja
устанóвленный срок — kindlaks-
määratud aeg

презрительно кривя́ губы — põlg-
likult huuli kõverdades
балóванный кот — hellitatud kass
сластёна и подхали́м — maias-
mokk ja lipitseja
стала упрека́ть его — hakkas
teda näägutama, noomima
злоде́й по́длый — alatu kurjategija

Кабатчица и дворник посмеялись над этими словами, но бабушка гнѣвно закричала на них:

— Думаете — скоты́ бога не понимают? Всякая тварь понимает это не хуже вас, безжалостные...

Запрягая ожирѣвшего, унылого Шарáпа, она беседовала с ним:

— Что ты скучен, бо́гов работник, а? Старенький ты...

Конь вздыхал, мотая головою.

И всё-таки имя божие она произносила не так часто, как дед. Бабушкин бог был понятен мне и не страшен, но пред ним нельзя было лгать, — стыдно. Он вызывал у меня только непобедимый стыд, и я никогда не лгал бабушке. Было просто невозможно скрыть что-либо от этого доброго бога, и, кажется, даже не возникало желанья скрывать.

Однажды кабатчица, поссóбившись с дедом, изругала заодно с ним и бабушку, не принимáвшую уча́стия в ссоре, изругала злобно и даже бросила в неё моркóвью.

— Ну, и дура вы, судáрыня моя, — спокойно сказала ей бабушка, а я жестоко обиделся и решил отомстить злодейке.

Я долго измышля́л, чем бы уязвить больше эту рыжую толстую женщину с двойным подборóдком и без глаз.

По наблюдениям моим над междоусóбницами жителей я знал, что они, мстя друг другу за обиды, рубят хвосты кошкам, тра́вят собак, убивают петухов и кур или, забравшись ночью в по́греб врага, наливают кероси́н в ка́дки с капустой и огурцами, выпускают квас из бочек, — но всё это мне не нравилось; нужно было придумать что-нибудь более внушительное и страшное.

Я придумал: подстерёг, когда кабатчица спустилась в погреб, закрыл над нею творило, за́пер его, сплясал на нём танец мести и, забросив ключ на крышу, стремгла́в

гнѣвно закричала — kāratas vihaselt

всякая тварь — iga elajas

что ты скучен? — mis sa porutad?

я решил отомстить — ma otsustasin kätte ma^ksta

я долго измышля́л — ma pidasin kaua aгу

чем бы уязвить — kuidas salvalta

междоусóбницы — omavahelised tülid

тра́вят собак — mürgitatakse koeri

в ка́дки — tünnidesse

я подстерёг — ma varitsesin (silmapilk)

закрыл творило — sulgesin luugi

танец мести — kättemaksutants

стремгла́в — ülepeakaela

прибежал в кухню, где стряпала бабушка. Она не сразу поняла мой восторг, а поняв, нашлёпала меня, где подобает, вытащила на двор и послала на крышу за ключом. Удивлённый её отношением, я молча достал ключ и, убежав в угол двора, смотрел оттуда, как она освобождала плённую кабатчицу и как обе они, дружелюбно посмеиваясь, идут по двору.

— Я-а тебя, — угрозила мне кабатчица пухлым кулаком, но её безглазое лицо добродушно улыбалось. А бабушка взяла меня за шиворот, привела в кухню и спросила:

— Это ты зачем сделал?

— Она в тебя морковью кинула...

— Значит, это ты из-за меня? Так! Вот я тебя, мышам в подпечек суну, ты и очнёшься! Какой защитник — взгляните на пузырь, а то сейчас лопнет! Вот скажу дедушке — он те кожу-то спустит! Ступай на чердак, учить книгу...

Целый день она не разговаривала со мною, а вечером, прежде чем встать на молитву, присела на постель и внушительно сказала памятные слова:

— Вот что, Лёнька, голуба душа, ты закажи себе это: в дела взрослых не путайся! Взрослые — люди порченные; они богом испытаны, а ты ещё нет, — и живи детским разумом. Жди, когда господь твоего сердца коснётся, дело твоё тебе укажет, на тропу твою приведёт. Понял? А кто в чём виноват — это дело не твоё. Господу судить и наказывать. Ему, а не нам!

Она помолчала, понюхала табаку и, прищурив правый глаз, добавила:

— Да, поди-ка и сам-то господь не всегда в силе понять, где чья вина.

— Разве бог не всё знает? — спросил я, удивлённый, а она тихонько и печально ответила:

— Кабы всё-то знал, так бы многого, поди, люди-то не делали бы. Он, чай, батюшка, глядит-глядит с небе-

нашлёпала меня, где подобает —
laksatas mulle kuhu vaja
пухлым кулаком — lihava ruskaga
пузырь (м.) — põis
памятные слова — meeldejäädav sõnad

закажи себе это — запомни
порченные люди — rikitud inimesed
они богом испытаны — jumal on neid juba katsunud
на тропу твою приведёт — juhatab sind määratud rajale

си-то на землю, на всех нас, да в иную минуту как восплáчет, да как возрыдáет: «Люди вы мои, милые мои люди! Ох, как мне вас жалко!»

Она сама заплакала и, не отирая мокрых щёк, отошла в угол молиться.

С той поры её бог стал ещё ближе и понятней мне.

2

Дед, поучая меня, тоже говорил, что бог — существо вездесущее, всеведущее, всевидящее, добрая помощь людям во всех делах, но молился он не так, как бабушка.

Утром, перед тем как встать в угол к образам, он долго умывался, потом, аккуратно одетый, тщательно причёсывал рыжие волосы, оправлял борóдку и, осмотрев себя в зеркало, одёрнув рубаху, заправив чёрную косынку за жилёт, осторожно, точно крадучись, шёл к образам. Становился он всегда на один и тот же сучок половицы, подобный лошадиному глазу, с минуту стоял молча, опустив голову, вытянув руки вдоль тела, как солдат. Потом, прямой и тонкий, внушительно говорил:

— «Во имя отца и сына и святого духа!»

Мне казалось, что после этих слов в комнате наступала особенная тишина, — даже мухи жужжат осторожнее.

Он стоит, вздёрнув голову; брови у него приподняты, ошетинились, золотистая борода торчит горизонтально; он читает молитвы твёрдо, точно отвечая урок: голос его звучит внятно и требовательно.

Читает «Верую»¹, отчеканивая слова; правая нога его вздрагивает, словно бесшумно притопывая в такт мо-

да как возрыдáет — puhkeb lausa nuuksuma

существо вездесущее, всеведущее (слав.) — igal pool viibiv, kõiketeadev olevus

оправлял борóдку — kohendas habet

одёрнул рубаху — tõmbas särgi sirgu

заправил косынку — sättis kaelarätti

точно крадучись — nagu hiilides на сучок половицы — põrandalaia oksakohale

не шибко = легко (бьёт себя по груди)

настойчиво просит — anub tungivalt

отчеканивать слова = произносить ясно

¹ «Mina usun» ehk «Ususymbol» on lühike kokkuvõte ristiusu põhi-
alustest.

литве; весь он напряжённно тянется к образам, растёт и как бы становится всё тоньше, суше, чистенький такой, аккуратный и требующий.

Теперь он крестится часто, судорожно, кивает головою, точно бодаясь, голос его взвизгивает и всхлипывает. Позднее, бывая в синагогах, я понял, что дед молился, как еврей.

Уже самовар давно фыркает на столе, по комнате плавает горячий запах ржаных лепёшек с твóрогом, — есть хочется! Бабушка хмуро прислонилась к притолоке и вздыхает, опустив глаза в пол; в окно из сада смотрит весёлое солнце, на деревьях жёмчугом сверкает роса, утренний воздух вкусно пахнет укропом, смородиной, зреющими яблоками, а дед всё ещё молится.

Я знаю на память все молитвы утренние и все на сон грядущий, — знаю и напряжённно слежy: не ошибётся ли дед, не пропустит ли хоть слово?

Это случалось крайне редко и всегда возбуждало у меня злорáдное чувство.

Кончив молиться, дед говорил мне и бабушке:

— Здравствуйте!

Мы кланялись и наконец садились за стол. Тут я говорил деду:

— А ты сегодня «довлёт» пропустил!

— Врёшь? — беспокойно и недоверчиво спрашивает он.

— Уж пропустил! Надо: «Но та вера моя да довлёт вместо всех», а ты и не сказал «довлёт».

— На-ко вот! — восклицает он, виновато мигая глазами.

(крестился) судорожно — kramplikult

точно бодаясь — just kui sarvedega puksides

голос взвизгивает и всхлипывает — hääli muutub kiunuvaks ja nuuksuvaks

он молился как еврей — ta palvetas nagu juut

запах ржаных лепёшек с твóрогом — kuumade rukkijahukorvide lõhn

прислонилась к притолоке — toetus uksepiida najale

жёмчугом сверкает роса — pägeline särab kaste

пахнет укропом, смородиной, зреющими яблоками — on tunda tilli, sõstra ja valmivate õunte lõhna

молитва на сон грядущий = вечерняя молитва

возбуждало у меня злорáдное чувство — tekitas minus kahjuõõtu

ты пропустил «довлёт» — sa jätsid «olgu» vahele

Потом он чем-нибудь горько отплатит мне за это указание, но пока, видя его смущённым, я торжествую.

Однажды бабушка шутиливо сказала:

— А скучно, поди-ка, богу-то слушать моление твоё, отец, — всегда ты твердишь одно да всё то же.

— Чего-о это? — зловеще протянул он. — Чего ты мычишь?

— Говорю, от своей-то души ни словечка господу не подарить ты никогда, сколько я ни слышу!

Он побагровел, затрясся и, подпрыгнув на стуле, бросил блюдечко в голову ей, бросил и завизжал, как пила на сучке:

— Вон, старая ведьма!

Рассказывая мне о необоримой силе божией, он всегда и прежде всего подчёркивал её жестокость: вот согрешили люди — и потоплены, ещё согрешили — и сожжены, разрушены города их; вот бог наказал людей голодом и мором, и всегда он — меч над землёю, бич грешникам.

— Всяк, нарушающий непослушанием законы божии, наказан будет горем и погibelью! — постукивая костями тонких пальцев по столу, внушал он.

Мне было трудно поверить в жестокость бога. Я подозревал, что дед нарочно придумывает всё это, чтобы внушить мне страх не пред богом, а пред ним. И я откровенно спрашивал его:

— Это ты говоришь, чтобы я слушался тебя?

А он так же откровенно отвечал:

— Ну, конечно! Ещё бы не слушался ты?!

— А как же бабушка!

— Ты ей, старой дуре, не верь! — строго учил он. — Она смолоду глупа, она безграмотна и безумна. Я вот

скучно = скучно
твердишь одно и то же — kor-
dad ikka üht ja sama
зловеще — kurjakuulutavalt
он затрясся — ta hakkas vabi-
sema
сучок = сук — (kuiv) oks
необоримая сила божия — juma-
la ääretu vägevus
подчёркивал её жестокость — rõ-
hutas selle (vägevuse) julmust

согрешили (люди) — patustasid
голод и мор — nälg ja katk
бич грешникам — patuseid nuht-
lev roosk
нарушающий законы божии —
kes rikub jumala seadusi
внушал — sisendas
я подозревал — mul tekkis kaht-
lus
откровенно — avameelselt

прикажу ей, чтобы не смела она говорить с тобой про эти великие дела!

Но, ставя бога грозно и высоко над людьми, он, как и бабушка, тоже вовлекал его во все свои дела, — и его и бесчисленное множество святых угодников.

Иногда дед мечтал:

— Помог бы господь продать домишко этот, хоть с пятьюстами пользы, — отслужил бы я молебен Николе Угоднику!

Бабушка, посмеиваясь, говорила мне:

— Так ему, старому дураку, Никола и станет дома продавать, — нет у него, Николы-батюшки, никакого дела лучше-то!

Дед водил меня в церковь: по субботам — ко всёнощной, по праздникам — к поздней обедне. Я и во храме разделял, когда какому богу молятся: всё, что читают священник и дьячок, — это дедову богу, а певчие поют всегда бабушкину.

Я, конечно, грубо выражаю то детское различие между богами, которое, помню, тревожно раздвояло мою душу, но дедов бог вызывал у меня страх и неприязнь: он не любил никого, следил за всем строгим оком, он, прежде всего, искал и видел в человеке дурное, злое, грешное. Было ясно, что он не верит человеку, всегда ждёт покаяния и любит наказывать.

В те дни мысли и чувства о боге были главной пищей моей души, самым красивым в жизни, — все же иные впечатления только обижали меня своей жестокостью и грязью, возбуждая отвращение и злость. Бог был самым лучшим и светлым из всего, что окружало меня, — бог бабушки, такой милый друг всему живому. И, конечно, меня не мог не тревожить вопрос: как же это дед не видит доброго бога?

святые угодники — pühad jumalamehed

всёнощная = вечернее богослужение

обедня = дневное богослужение (литургия)

грубо выражаю — annap jämedais joontes edasi

различие — erinevus

раздвояло мою душу — lõhestas mu hinge

вызвал страх и неприязнь — äratas hirmu- ja vaenutundeid

видел дурное — nägi halba

ждёт покаяния — ootab patukahetsust

обижал своей жестокостью — haavasid oma julmusega

отвращение и злость — tülgastus ja viha

Меня не пускали гулять на улицу, потому что она слишком возбуждала меня, я точно хмелёл от её впечатлений и почти всегда становился виновником скандалов и буйств. Товарищей у меня не заводилось, соседские ребята относились ко мне враждебно; мне не нравилось, что они зовут меня Кашириным, а они, замечая это, тем упорнее кричали друг другу:

— Кощёя Каширина внучонок вышел, глядите!

— Валяй его!

И начиналась драка.

Был я не по годам силен и в бою ловок, — это признавали сами же враги, всегда нападавшие на меня кучей. Но всё-таки улица всегда била меня, и домой я приходил обыкновенно с расквашенным носом, рассечёнными губами и синяками на лице, обёрванный, в пыли.

Бабушка встречала меня испуганно, соболёзную:

— Что, редькин сын, опять дрался? Да что же это такое, а! Как я тебя начну, с руки на руку...

Мыла мне лицо, прикладывала к синякам бодягу, медные монеты или свинцовую примочку и уговаривала:

— Ну, что ты всё дерёшься? Дома смирный, а на улице ни на что не похож! Бесстыдник. Вот скажу дедушке, чтоб он не выпускал тебя...

Дедушка видел мои синяки, но никогда не ругался, только кричал и мычал:

— Опять с медалями? Ты у меня, Аника-воин, не смей на улицу бегать, слышишь!

Меня и не тянула улица, если на ней было тихо, но когда я слышал весёлый ребячий гам, то убегал со

я точно хмелёл — jän otsekui
purju

виновник буйств — mürglite alga-
taja

относились враждебно — suhtu-
sid vaenukult

кощей — ihuskoi

нападали кучей — ründasid hul-
gakaupa

с расквашенным носом — verise
nina

с рассечёнными губами — lõhki-
lõddud huultega

соболезновать — kaasa tundma
редька — rōigas; редькин сын —
sa, marakratt

прикладывала к синякам бодягу
— pani siniseks lõddud kohta-
dele jōekāsni

свинцовая примочка — tinavee-
kompress

уговаривать — keelitama

Аника-воин. = «горе-воин» («sō-
dur-hādavares»)

ребячий гам — laste lārmamine

двора, не глядя на дедов за́прёт. Синяки и сса́дины не обижали, но неизмѣнно возмущала жесто́кость уличных забав, — жесто́кость, слишком знакомая мне, доводи́вшая до бе́шенства. Я не мог терпеть, когда ребята стравливали собак или петухо́в, истязáли кошек, гоняли еврейских коз, издева́лись над пьяными ни́щими.

Нет, дома было лучше, чем на улице. Особенно хороши были часы после обеда, когда дед уезжал в мастерскую дяди Якова, а бабушка, сидя у окна, рассказывала мне интересные сказки, истории, говорила про отца моего.

Скворцу́, отнятому ею у кота, она обрезала сломанное крыло́, а на место отку́шенной но́ги ловко пристроила деревя́шку и, вѣлечив птицу, учила её говорить. Стоит, бывало, целый час перед клеткой на косяке́ окна — большой такой, добрый зверь — и густым голосом твердит пере́ймчивой, чёрной, как уголь, птице:

— Ну, проси: скворушке — каши!

Скворец, скоси́в на неё круглый, живой глаз юмориста, стучит деревя́шкой о тонкое дно клетки, вытя́гивает шею и свистит и́волгой, передра́знивает со́йку, кукушку, старается мя́кнуть кошкой, подражает вою собаки, а чело́вечья речь не даётся ему.

— Да ты не ба́луй! — серьёзно говорит ему бабушка. — Ты говори: скворушке — каши!

Чёрная обезьяна в перьях оглушительно орёт что-то похожее на слова бабушки, — старуха смеётся радостно, даёт птице просяно́й каши с пальца и говорит:

— Я тебя, шельму, знаю; притворя́шка ты — всё можешь, всё умеешь!

И ведь выучила скворца: через некоторое время он довольно ясно просил каши, а завидя бабушку, тянул что-то похожее на — «Дра-астуй . . .»

синяки́ и сса́дины — muhud ja kriimustused
неизмѣнно возмущáла — ikka ja jälle õhutas mu meelepaha
стра́вливали соба́к — ässitasid koeri omavahel kisklema
истязáли ко́шек — piinasid kasse
издева́лись над ни́щими — mõnitasid kerjuseid
отку́шенная нога — (otsast) ära näritud jalg

на косяке́ окна — aknapiidal
пере́ймчивый — õplik, arukas
скоси́в глаз — kõõritades silma
свистит и́волгой — vilistab peoleona
передра́знивает со́йку — ahvib järele pasknääri
просяна́я каша — hirsipuder
притворя́шка (ласк.) — teeskleja, vigurdaja

Сначала он висел в комнате деда, но скоро дед изгнал его к нам, на чердак, потому что скворец выучился дразнить дедушку; дед внятно произносит слова молитв, а птица, просунув восковой жёлтый нос между палочек клетки, высвистывает:

— Тью, тью, тью-иррь, ту-иррь, ти-иррь, тью-уу!

Деду показалось обидным это; однажды он, прервав молитву, топнул ногой и закричал свирёпо:

— Убери его, дьявола, убью!

Много было интересного в доме, много забавного, но порою меня душила неотразимая тоска, весь я точно наливался чем-то тяжким и подолгу жил, как в глубокой тёмной яме, потеряв зрение, слух и все чувства, слепой и полумёртвый...

XI

1

... Я проснулся весь в красных пятнах, началась оспа. Меня поместили на заднем чердаке, и долго я лежал там слепой, крепко связанный по рукам и по ногам широкими бинтами, переживая дикие кошмары, — от одного из них я едва не погиб. Ко мне ходила только бабушка кормить меня с ложки, как ребёнка, рассказывать бесконечные, всегда новые сказки. Однажды вечером, когда я уже выздоравливал и лежал развязанный, — только пальцы были забинтованы в рукавички, чтоб я не мог царапать лица, — бабушка почему-то запоздала прийти в обычное время, это вызвало у меня тревогу, и вдруг я увидел её: она лежала за дверью на пыльном помосте чердака, вниз лицом, раскинув руки, шея у неё была наполовину перерезана; из угла, из пыльного сумрака к ней подвигалась большая кошка, жадно вытаращив зелёные глаза.

внятно — (hääldab) selgesti
кричит свирёпо — karjub metsi-
kult

много забавного — palju lõbusat
душила неотразимая тоска — äng-
gistas hingemattev tusk

началась оспа — tulid rõuged
чердак — rõõning; siin: p.kam-
ber

кошмар — painaja
рукавицы — käpikud

помост (чердака) = пол
шея перерезана — kael läbi lõi-
gatud

пыльный сумрак — tolmune hä-
marus

вытаращить глаза — silmi pun-
gitama

Я вскочил с постели, вѣшиб ногами и плечами обе рамы окна и выкинулся на двор, в сугрѳб снега. В тот вечер у матери были гѳсти, никто не слышал, как я бил стѳкла, и ломал рамы, мне пришлѳсь пролежать в снегу довольно долго. Я ничего не сломал себе, только вѳвихнул руку из плеча да сильно изрезался стѳклами, но у меня отнялись ноги, и месяца три я лежал, совершенно не владѳя ими; лежал и слушал, как всѳ более шумно живѳт дом, как часто там внизу хлѳпают двери, как много ходит людей.

Шѳркали по крыше тосклѳвые вѳюги, за дверью на чердаке гулял-гудел ветер, похорѳнно пело в трубе, дребезжѳли вѳюшки, днѳм каркали ворѳны, тихими ночами с поля доносился заунывный вой волкѳв, — под эту музыку и рослѳ сердце. Потом в окно робко и тихѳнько, но всѳ лѳсковее с каждым днѳм стала заглядывать пуглѳвая весна лучѳстым глазом мѳртовского солнца, на крыше и на чердакѳ запели, заорали кошки, весѳнный шорох проникѳл сквозь стены — ломѳлись хрустѳльные сосульки, съезжал с конькѳ крыши подтѳявший снег, а звон колоколѳв стал гуще, чем зимою.

Приходила бабушка; всѳ чаще и крепче слова еѳ пахли водкой, потом она стала приносить с собою большой белый чайник, прятала его под кровать ко мне и говорила, подмигивая:

— Ты, голубѳ душа, деду-то, домовѳму, не сказывай!

— Зачем ты пѳешь?

— Нишкнѳ! Вѳрастешь — узнаѳешь...

Пососав из рѳльца чайника, отерѳв губы рукавѳм, она сладко улыбалась, спрашивая:

— Ну и вот, сѳдарь ты мой, про что, бишь, я вчера сказывала?

— Про отца.

— А которое место?

вѳвихнул рѳку из плечѳ — vѳe-
nasin kѳe ѳlast vѳlja
ноги отнялись — jalad said 'hal-
vatusе
не владѳя ногѳми = не в состо-
янии ими двигать
тосклѳвые вѳюги — tusased tui-
sud
похорѳнно пело в трубе — korst-
nast kajas nagu matuselaulu

дребезжѳли вѳюшки — lѳgisesid
ahjusiibrid
заунывный вой — kaeblik ulgu-
mine
проникѳть — (lѳbi) tungima
хрустѳльные сосульки — kristai-
sed jѳepurikad
конѳк крыши — katusehari
нишкнѳ! — kuss, ole vakka!

Я напоминал ей, и долго текла ручьём её склáдная речь.

Она сама начала рассказывать мне про отца, пришла однажды трезвая, печальная и усталая и говорит:

— Видела я во сне отца твоего, идёт будто полем с пáлочкой орéховой в руке, посв́истывает, а следом за ним пёстрая собака бежит, трясёт языком.

2

Несколько вечеров подряд она рассказывала историю отца, такую же интересную, как все её истории.

Отец был сыном солдата, дослужившегося до офицеров и сосланного в Сибирь за жестокость с подчинёнными ему; там, где-то в Сибири, и родился мой отец. Жилось ему плохо, уже с малых лет он стал бегать из дома; однажды дедушка искал его по лесу с собаками, как зайца; другой раз, поймав, стал так бить, что соседи отняли ребёнка и спрятали его.

— Маленьких всегда бьют? — спрашивал я; бабушка спокойно отвечала:

— Всегда.

Мать отца померла рано, а когда ему минуло девять лет, помер и дедушка, отца взял к себе крёстный — столяр, приписал его в цеховые города Перми и стал учить своему мастерству, но отец убежал от него, водил слепых по ярмаркам, шестнадцати лет пришёл в Нижний и стал работать у подрядчика — столярá на пароходах Колчина. В двадцать лет он был уже хорошим краснодерёвцем, обóйщиком и драпировщиком. Мастерская, где он работал, была рядом с домами деда, на Ковалихе.

— Заборы-то невысокие, а люди-то бойкие, — говорила бабушка, посмеиваясь. — Вот, собираем мы с Варей малину в саду, вдруг он, отец твой, шасть через забор, я индо испугалась: идёт меж яблонь эдакой могучей, в

орéховая пáлочка — sarapiu-
kepike

трясёт языком — väristab keelt

подчинённые — alluvad

крёстный — ristiisa

в цеховые города — linna käsi-
töoliste tsunfti

краснодерёвец — peep-mööbli-
tisler

обóйщик — polsterdaja

малина — vaarikas

шасть через забор — krapsti üle
tara

я индо испугалась = я даже
испугалась

белой рубахе, в плисовых штанах, а — бóсый, без шапки, на длинных волосьях — ремешок. Это он — свátаться привалíл! Видала я его и прежде, мимо окон ходил, увижу — подумаю: экой парень хороший! Спрашиваю я его, как подошёл: «Что это ты, молодец, не пугём ходишь?» А он на коленки стал. «Акулина, говорит, Ивановна, вот те я весь тут, со всей полной душой, а вот — Варя; помоги ты нам, бога ради, мы жениться хотим!» Тут я обомлела, и язык у меня отнялся. Гляжу, а мать-то твоя, мошённица, за яблоню спрятавшись, красная вся, малина-малиной, и знаки ему подаёт, а у самой — слёзы на глазах. «Ах, вы, говорю, пострели вас горой, да что же это вы затеяли? Да в уме ли ты, Варвара? Да и ты молодец, говорю, ты подумай-ко: по себе ли ты берёзу ломишь?» Дедушка-то наш о ту пору богач был, дети-то ещё не выделены, четыре дома у него, у него и деньги, и в чести он, незадолго перед этим ему дали шляпу с позумёнтом да мундír за то, что он девять лет бессмённо старшиной в цехе сидел, — гордый он был тогда! Говорю я, как надо, а сама дрожу со страху, да и жалко мне их: потемнели оба. Тут отец твой сказал: «Я-де знаю, что Василий Васильев не отдаст Варю добром за меня, так я её выкраду, только ты помоги нам» — это я, чтобы помогла! Я даже замахнулась на него, а он и не сторонится: «Хоть камнем, говорит, бей, а — помоги, всё равно я-де не отступлюсь!» Тут и Варвара подошла к нему, руку на плечо его положила, да и скажи: «Мы, говорит, уж давно поженились, ещё в мае, нам только обвенчаться нужно». Я так и покати́лась, — ба-атюшки!

Бабушка стала смеяться, сотрясаясь всем телом, потом понюхала табакú, вытерла слёзы и продолжала, отрадно вздохнув:

— Ты этого ещё не можешь понять, что значит — жениться и что — венчаться, только это — страшная беда, ежели девица, не венчаясь, дитя родит! Ты это запомни да, как вырастешь, на такие дела девиц не подби-

свátаться привалíл! — kosja
tulil
шляпа с позумёнтом — poorti-
dega kübar.
бессмённо — vahetpidamata
уж давно поженились — láksime
juba ammuigi paari

только обвенчаться нужно —
ainult laulatust oleks veel vaja
я так и покати́лась — ma pidin
pikali kukkuma
отрадно вздохнóв — siin: liigu-
tatult ohtes
подбивать — meelitama

ва́й, тебе это будет великий грех, а девица станет несчастна, да и дитя беззаконно, — запомни же, гляди! Ты живи, жалéючи баб, люби их сердечно, а не ради баловства, это я тебе хорошее говорю!

Она задумалась, покачиваясь на стуле, потом, встре́пенувшись, снова начала:

— Ну, как же тут быть? Я Максима — по лбу, я Варвару — за косу, а он мне разумно говорит: «Бóем дела не исправишь!» И она тоже: «Вы, говорит, сначала подумали бы, что делать, а драться — после!» Спрашиваю его: «Деньги-то у тебя есть?» — «Были, говорит, да я на них Варе кольцо купил». — «Что же это у тебя — трéшница была?» — «Нет, говорит, около ста целковых». А в те поры деньги были дóроги, вещи — дешёвы, гляжу я на них, на мать твою с отцом — экие ребята, думаю, экие дурачишки! Мать говорит: «Я кольцо это под пол спрятала, чтоб вы не увидáли, его можно продать!» Ну, совсем ещё дети! Однако так ли, эдак ли, уговорились мы, что венчаться им через неделю, а с попом я сама дело устрою. А сама — ревú, сердце дрожмя дрожит, боюсь дедушку, да и Варе — жúтко. Ну налáдились!

— Только был у отца твоего нéдруг, мастер один, лихóй человек, и давно он обо всём догадался и приглядывал за нами. Вот, обрядила я дóченьку мою единую во что пришлось получше, вывела её за ворота, а за углóm тройка ждала, села она, свíстнул Максим — поехали! Иду я домой во слезах — вдруг навстречу мне этот человек, да и говорит, подлéc: «Я, говорит, дóбрый, судьбе мешать не стану, только ты, Акулина Ивановна, дай мне за это полсотни рублей!» А у меня денег нет, я их не любила, не копила, вот я, сдúру, и скажи ему: «Нет у меня денег и не дам!» — «Ты, говорит, обещай!» — «Как это — обещать, а где я их после-то возьму?» — «Ну, говорит, али трудно у богатого мужа украсть?» Мне бы, дурёхе, поговорить с ним, задержать его, а я плюнула в

дитя станет беззаконно — laps
on ebaseaduslik
встрепенúться — vōpatama
уговорились = согласились
лихóй (человек) = злой
догадáлся — (tal) oli asjast
áimü

обрядила я дóченьку — ehtisin
tútrekese
подлéc — nurjatu
не копила = не собирала (денег)
сдúру — gumalast peast
обещáть — lubama, tōotama
задержáть — takistama

рожу-то ему, да и пошла себе! Он — вперёд меня забегал на двор и — поднял бунт!

Закрыв глаза, она говорит сквозь улыбку:

— Даже и сейчас вспомнить страшно дела эти дерзкие! Взревел дедушка-то, зверь зверем, — шутка ли это ему? Он, бывало, глядит на Варвару-то, хвастается: за дворянина выдам, за барина! Вот те и дворянин, вот те и барин! Пресвятая богородица лучше нас знает, кого с кем свести. Мечется дедушка по двору-то, как огнём охвачен, вызвал Якова с Михайлой, конопатого этого мастера согласил да Клима, кучера; вижу я — кистень он взял, гирю на ремешке, а Михайло — ружьё схватил, лошади у нас были хорошие, горячие, дрожки-тарантас — лёгкие, — ну, думаю, догонят! И тут надоумил меня ангел-хранитель Варварин, — добыла я нож да гужи-то у оглобель и подрезала, авось, мол, лопнут дорогой! Так и сделалось: вывернулась оглобля дорогой-то, чуть не убило деда с Михайлом да Климом, и задержались они, а как, поправившись, доскакали до церкви — Варя-то с Максимом на паперти стоят, обвенчаны, слава те, господи!

— Пошли было наши-то ббем на Максима, ну — он здоров был, сила у него была редкая! Михаила с паперти сбросил, руку вышиб ему, Клима тоже ушиб, а дедушка с Яковом да мастером этим — забоялись его.

— Он и во гневе не терял разума, говорит дедушке: «Брось кистень, не махай на меня, я человек смиренный, а что я взял, то бог мне дал и отнять никому нельзя, и больше мне ничего у тебя не надо». Отступились они от него, сел дедушка на дрожки, кричит: «Прощай теперь, Варвара, не дочь ты мне и не хочу тебя видеть, хошь — живи, хошь — с голоду издохни». Воротился он — давай меня бить, давай ругать, я только покряхтываю да по-

поднял бунт — tõstis mässu
дерзкие дела — jultunud asjad
за дворянина выдам — aadlikule
annan paiseks
кого с кем свести — keda kel-
lega paari panna
конопатый (простонар.) — kõuge-
armiline
кистень (м.) — käsini
гиря на ремешке — kaalupomm
gihma otsas
ангел-хранитель — kaitseingel

гужи у оглобель — rangiroomad
aisade juures
авось лопнут — ehk katkevad
на паперти — kirikuesisel
руку вышиб ему — väänas tal
käte välja
ушиб = ударил
во гневе — vihahoos
не терял разума — ei kaotanud
agu
покряхтывать — ägisema

мáлкиваю: всё пройдёт, а чему быть, то останется! После говорит он мне: «Ну, Акулина, гляди же: дочери у тебя больше нет нигде, помни это!» Я одно своё думаю: ври больше, рыжий, — злоба, что лёд, до тепла живёт!

Рассказывая, она всё время качается, точно в лодке плывёт. Если говорит о печальном или страшном, то качается сильнее, протянув руку вперёд, как бы удёрживая что-то в воздухе. Она часто прикрывает глаза, и в морщинах щёк её прячется слепая, добрая улыбка, а густые брови чуть-чуть дрожат. Иногда меня трогает за сердце эта слепая, всё примиряющая доброта, а иногда очень хочется, чтобы бабушка сказала какое-то сильное слово, что-то крикнула.

— Первое время, недели две, и не знала я, где Варя-то с Максимом, а потом прибежал от неё мальчóнка бойкенький, сказал. Подождала я субботы да будто ко всёнощной иду, а сама к ним! Жили они далеко, на Суетинском съезде, во флигельке, весь двор мастеровщиной занят, сóрно, грязно, шумно, а они — ничего, ровно бы котята, весёлые оба, мурлычут да играют. Привезла я им, чего можно было: чаю, сахару, круп разных, варёнья, муки, грибов сушёных, деньжонок, не помню сколько, понатаסקала тихóнько у деда — ведь, коли не для себя, так и украсть можно! Отец-то твой не берёт ничего, обижается: «Али, говорит, мы нищие?» И Варвара поёт под его дудку: «Ах, зачем это, мамаша?..» Я их пожурила: «Дурачишко, говорю, я тебе — кто? Я тебе — богодáнная мать, а тебе, дурёхе, — крóвная! Разве, говорю, можно обижать меня? Ведь, когда мать на земле обижают — в небесах мáтерь бóжия горько плачет!» Ну, тут Максим схватил меня на руки и давай меня по гóрнице носить,

помáлкивать = молчать
удёрживать в воздухе — õhus
kinni hoidma
мастеровщиной занят — (õu)
käsitõõlisi täis
сóрно, грязно — gápane ja must
крупá — tangud
варёнье — moos
украсть — varastama

поёт под его дудку — laulab
tema pilli järgi
я их пожурила — tegin neile
reapesu
богодáнная мать — jumalast
antud ema
крóвная мать — lihane ema
по гóрнице — mõõda kambrit

носит да ещё приплясывает, — силён был, медведь! А Варька-то ходит, девчонка, павой, мужем хвастается, вроде бы новой куклой, и всё глаза заводит и всё таково важно про хозяйство сказывает, будто всамделишная баба, — уморушка глядеть! А ватрушки к чаю подала, так об них волк зубы сломит, и творог — дресвой рассыпается!

— Так оно и шло долгое время, уж и ты готов был родиться, а дедушка всё молчит, — упрямым, домово́й! Я тихонько к ним похаживаю, а он и знал это, да будто не знает. Всем в доме запрещено про Варю говорить, и все молчат, и я тоже помалкиваю, а сама знаю своё — отцово сердце ненадолго немо. Вот как-то пришёл заветный час — ночь, выюга воет, в окошки-то словно медведи лезут, трубы поют, все беси сорвались с цепей, лежим мы с дедушкой — не спится, я и скажи: «Плохо бедному в этакую ночь, а ещё хуже тому, у кого сердце неспокойно!» Вдруг дедушка спрашивает: «Как они живут?» — «Ничего, мол, хорошо живут». — «Я, говорит, про кого это спросил?» — «Про дочь Варвару, про зятя Максима». — «А как ты догадалась, что про них?» — «Полно-ка, говорю, отец, дуришь-то, бросил бы ты эту игру, ну — кому от неё вёсело?» Вздыхает он: «Ах вы, говорит, черти, серые вы черти!» Потом — выспрашивает: что, дёскачь, дурак этот большой, — это про отца твоего, — верно, что дурак? Я говорю: «Дурак, кто работать не хочет, на чужой шее сидит, ты бы вот на Якова с Михайлой поглядел — не эти ли дураками-то живут? Кто в доме работник, кто добытчик? Ты. А велики ли они тебе помощники?» Тут он — ругать меня: и дура-то я, и подлая, и сводня, и уж не знаю как! Молчу. «Как ты, говорит, могла обольститься человеком, неведомо откуда, неизвестно каким?» Я себе молчу, а как устал он, говорю: «Пошёл бы ты, погля-

да ещё приплясывает — ja lõõb
veel tantsugi
ходит павой — käib nagu paabulind
всамделишная = в самом деле
(ehtne)
уморушка глядеть! — паега
ennast või katki!
ватрушки — korbid
дресва́ = крупный песок (kruus,
sõmer)

ненадолго немо — ei jää kauaks
tummaks
заветный час — oodatud tund
бес — (vana)pagan, kurat
зять (м.) — väimees
и подлая и сводня — alatu ja
kupeldaja
обольститься — lasta end ära
ahvatleda
неведомо = неизвестно

дел, как они живут, хорошо ведь живут». — «Много, говорит, чести будет им, пускай сами придут...» Тут уж я даже заплакала с радости, а он волосы мне распускает, любил он волóсьями моими играть, бормóчет: «Не хлúпай, дура, али, говорит, нет душí у меня?» Он ведь раньше-то больно хороший был, дедушка наш, да как выдумал, что нет его умнее, с той поры и озлílлся и глупым стал.

— Ну, вот и пришли они, мать с отцом, во святой день, в прощёное воскресенье¹, большие оба, гладкие, чистые; встал Максим-то против дедушки — а дед ему по плечо, — встал и говорит: «Не думай, бога ради, Василий Васильевич, что пришёл я к тебе по приданое, нет, пришёл я отцу жены моей честь воздать». Дедушке это понравилось, усмехáется он: «Ах ты, говорит, орясина², разбойник! Ну, говорит, будет бáловать, живите со мной!» Нахмурился Максим: уж это, дéскать, как Варя хочет, а мне всё равно! И сразу началось у них зуб за зуб — никак не сладятся! Уж я отцу-то твоему и мигаю и ногой его под столом — нет, он всё своё! Хороши у него глаза были: весёлые, чистые, а брови — тёмные, бывало, сведёт он их, глаза-то спрячутся, лицо станет кáменное, упрямое, и уж никого он не слушает, только меня; я его любила куда больше, чем родных детей, а он знал это и тоже любил меня! Прижмётся, бывало, ко мне, обнимет, а то схватит на руки, таскает по гóрнице и говорит: «Ты, говорит, настоящая мне мать, как земля, я тебя больше Варвары люблю!» А мать твоя, в ту пору, развесёлая была озорница — бросится на него, кричит: «Как ты можешь такие слова говорить, пермяк, солёны уши?» И возимся, играем трое; хорошо жили мы, голубá душа! Плясал он тоже редко, песни знал хорошие — у слепых перенял, а слепые — лучше нет певцов!

— Поселились они с матерью во флígеле, в саду, там

зуб за зуб — hammas hamba
vastu
не сладятся — ei jõua kokku-
lepele

озорница — võrukael
у слепых перенял = научился у
слепых
флígель (м.) — tiibhoone

¹ Прощёное воскресенье — воскресный день в конце масленицы, когда, по существовавшему церковному обычаю, просили друг у друга прощения за все причинённые обиды.

² Орясина — здесь в значении: высокий, здоровенный парень.

и родился ты, как раз в полдень — отец обедать идёт, а ты ему навстречу. То-то радовался он, то-то бесновался, а уж мать — замаял просто, дурачók, будто и невесть какое трудное дело ребёнка родить! Посадил меня на плечо себе и понёс через весь двор к дедушке докладывать ему, что ещё внук явился, — дедушка даже смеяться стал: «Экой, говорит, лёший ты, Максим!»

— А дядья твои не любили его, — вина он не пил, на язык дерзок был и горáзд на всякие вьдумки, — горько они ему отрыгнулись! Как-то, о великом постё, заиграл ветер, и вдруг по всему дому запело, загудело страшно — все обомлели, что за наваждёние? Дедушка совсем струхнул, велел везде лампадки зажечь, бегаёт, кричит: «Молёбен надо отслужить!» И вдруг всё прекратилось — ещё хуже испугались все. Дядя Яков догадался: «Это, говорит, наверное, Максимом сделано!» После он сам сказал, что наставил в слуховом окне бутылки разных да склянок, — ветер в горлышки дует, а они и гудят, всякая по-своему. Дед погрозил ему: «Как бы эти шутки опять в Сибирь тебя не воротили, Максим!»

— Один год сильно морóзен был, и стали в город заходить волки с поля, то собаку зарéжут, то лошадь испугают, пьяного караульщика заели, много суматохи было от них! А отец твой возьмёт ружьё, лыжи наденет да ночью в поле, глядишь — волка притащит, а то двух. Шкуры снимет, головы вьщелушит, вставит стеклянные глаза — хорошо выходило! Вот и пошёл дядя Михайло в сени за нужным делом, вдруг — бежит назад, волосы дьбом, глаза вькатились, горло перехвачено — ничего

бесноваться — möllama
 замаял — väsitäs ära
 невесть какое трудное дело —
 pagu oleks tea kui raske asi
 на язык был дерзок — oli terava
 keelega
 горáзд на вьдумки — osav vem-
 pe välja mõtlema
 горько отрыгнулись = отплатили
 что за наваждёние? — mis vii-
 gastus see on?
 струхнуть = струсить

слуховое окно — rõõninguaken
 склянка = маленькая бутылочка
 горлышко — (pudeli)kael
 много суматохи — palju sega-
 dust
 вьщелушит — teeb seest tühjaks
 за нужным делом — oma asjale
 волосы дьбом — juuksed peas
 püsti
 глаза вькатились — silmad pup-
 gis
 горло перехвачено — hing kinni

не может сказать. Штань у него свалились, запутался он в них, упал, шепчет — волк! Все схватили кто что успел, бросились в сени с огнём, — глядят, а из рундука и впрямь волк голову высунул! Его бить, его стрелять, а он — хоть бы что! Пригляделись — одна шкура да пустая голова, а передние ноги гвоздями прибиты к рундуку! Дед тогда сильно-горячо рассердился на Максима. А тут ещё Яков стал шутки эти перенимать: Максим-то склѣит из картона будто голову — нос, глаза, рот сделает, пакли налѣпит вместо волос, а потом идут с Яковом по улице и рѣжи эти страшные в окна суют — люди, конечно, боятся, кричат. А по ночам — в простынях пойдут, попа напугали, он бросился на будку, а будочник, тоже испугавшись, давай караул кричать. Много они эдак-то куролѣсили, и никак не унять их; уж и я говорила — бросьте, и Варя тоже, — нет, не унимаются! Смеется Максим-то: «Больно уж, говорит, забавно глядеть, как люди от пустяка в страхе бегут сломя голову!» Поди, говори с ним...

— И отдалось всё это ему чуть не гибелью: дядя-то Михайло весь в дедушку — обидчивый, злопáмятный, и задумал он извести отца твоего. Вот, шли они в начале зимы из гостей, четверо: Максим, дядья да дьячок один — его расстрѣгли после, он извѣзчика до смерти забил. Шли с Ямской улицы и заманили Максима-то на Дюков пруд, будто покататься по льду, на ногах, как мальчишки катаются, заманили, да и столкнули его в прѣрубь, — я тебе рассказывала это...

— Отчего дядья злые?

— Они — не злые, — спокойно говорит бабушка, нюхая табак. — Они просто — глупые! Мишка-то хитёр, да глуп, а Яков — так себе, блаженный муж... Ну, столкнули они его в воду-то, он вынырнул, схватился руками за край проруби, а они его давай бить по рукам, все пальцы

рундук — kirst; siin: (kloseti)
istekast
пакля — takud
простыня — (voodi)lina
эдак-то куролѣсили — nõnda
nad tembutasid
унять — taltsutama
извести — (kellelegi) otsa te-
gema

расстрѣчь — vaimulikust seisus-
est välja heitma
заманили — meelitasid
столкнули в прѣрубь — tõukasid
jääauku
он хитёр — ta on kaval
блаженный — õnnis; siin: tobuke

ему растоптали каблукáми. Счастье его — был он трезвый, а они — пьяные, он как-то, с божьей помощью, вытянулся подо льдом-то, держится вверх лицом, посередь проруби, дышит, а они не могут достать его, покидали некоторое время в голову-то ему ледяшками и ушли — дэскать, сам потóнет! А он вылез, да бегом, да в полицию — полиция тут же, знаешь, на площади. Квартáльный знал его и всю нашу семью, спрашивает: как это случилось?

Бабушка крестится и благодарно говорит:

— Упоко́й, господи, Максима Савватеича с праведными твоими, сто́ит он того! Скрыл ведь он от полиции дело-то: «Это, говорит, сам я, будучи выпивши, забрёл на пруд, да и сверну́лся в прорубь». Квартáльный говорит: «Неправда, ты непьющий!» Долго ли, коротко ли, растёрли его в полиции вином, одели в сухое, окутали тулупом, привезли домой, и сам квартáльный с ним и ещё двое. А Яшка-то с Мишкой ещё не успели воротиться, по трактирам ходят, отца-мать сла́вят. Глядим мы с матерью на Максима, а он не похож на себя, багровый весь, пальцы разбиты, кровью соча́тся, на виска́х будто снег, а не тает — поседели височки-то!

— Варвара — криком кричит: «Что с тобой сделали?» Квартáльный принюхивается ко всем, выпрашивает, а моё сердце чуёт — ох, нехорошо! Я Варю-то натрави́ла на квартáльного, а сама тихонько пытаю Максимушку — что сделалось? «Встречайте, шепчет он, Якова с Михайлой первая, научите их — говорили бы, что разошлись со мной на Ямской, сами они пошли до Покрówki, а я, дэскать, в Пряди́льный проу́лок сверну́л! Не спутайте, а то беда будет от полиции!» Я — к дедушке: «Иди, заговаривай квартáшку, а я сыновей ждать за ворóта», и расска-

пальцы ему растоптали каблукáми — tagusid tal sõrmed kotsadega puruks

был он трезвый — ta oli kaine
квартáльный — jaoskonna-politseinik

упоко́й, госпо́ди, его ду́шу —
anna, issand, talle rahulist hingamist

праведный — õige usuinimene
забрёл на пруд — läksin tiigile kolama

растёрли вином — hõõrutiti viinaga

сла́вить — au tegema

(пальцы) кровью соча́тся —
jooksevad verd

на виска́х — meelekohtadel

натрави́ть — peale ässitama

разошлись — läksid lahku

проу́лок = переулок (põik-tänav)

зала ему, какое зло вышло. Одевается он, дрожит, бормочет: «Так я и знал, того я и ждал!» Врёт всё, ничего не знал! Ну, встретила я дётюк ладо́нями по ро́жам — Мишка-то со стра́ху сразу трезвый стал, а Яшенька, милый, и лы́ка не вяжет, однако бормочет: «Знать ничего не знаю, это всё Михайло, он старшо́й!» Успоко́или мы кварта́льного ко́е-как — хороший он был господин! «Ох, говорит, глядите, коли случится у вас что худое, я буду знать, чья вина». С тем и ушёл. А дед подошёл к Максиму-то и говорит: «Ну, спасибо тебе, другой бы на твоём месте так не сделал, я это понимаю! И тебе, дочь, спасибо, что доброго челове́ка в отцов дом привела́!» Он ведь, дедушка-то, когда хотел, так хорошо говорил, это уж после, по глупости, стал на замо́к сердце-то запира́ть. Остались мы втроём, заплакал Максим Савватейч и словно брёдить стал: «За что они меня, что худого сделал я для них? Мама — за что?» Он меня не мамашей, а мамой звал, как маленький, да он и был, по характеру-то, врёде ребёнка. «За что?» — спрашивает. Я — реву́, что мне больше осталось? Мои дети-то, жалко их! Мать твоя все пúговицы на ко́фте оборвала, сидит растрёпана, как после дра́ки, рычит: «Уедем, Максим! Братья нам враги, боюсь их, уедем!» Я уж на неё цыкнула: «Не бросай в печь сору, и без того угар в доме!» Тут дедушка дураков этих прислал прощёнья просить, наскочила она на Мишку, хлысь его по щекé — вот те и прощёнье! А отец жалуется: «Как это вы, братцы? Ведь вы калéкой могли оставить меня, какой я работник без рук-то?» Ну, помири́лись кое-как. Похворáл отец-то, недель семь валялся и нет-нет да скажет: «Эх, мама, едем с нами в другие города́ — скушнова́то здесь!» Скоро и вышло ему ехать в Астрахань; ждали туда летом царя, а отцу твоему было поручено триумфа́льные воро́та строить. С первым пароходом поплыли они; как с душой, рассталась я с

бормота́ть — pomisema
 лы́ко — piineriba; лы́ка не вяжет
 — ei tea maast ega ilmast
 пúговицы на ко́фте — põõbid
 jaki ees
 цыкнуть — peale káratama
 сор — prügi
 уга́р в до́ме — maja vingu
 (karmu) täis

прощёнья проси́ть — andestust
 paluma
 помири́лись ко́е-как — leppisid
 kuidagi ära
 похворáл — põdes
 валя́лся — oli siruli maas
 триумфа́льные воро́та — auvārav

ними, он тоже печален был и всё уговаривал меня — ехала бы я в Астрахань-то. А Варвара радовалась, даже не хотела скрыть радость свою, бесстыдница... Так и уехали. Вот те и — всё...

Она выпила глоток водки, понюхала табаку и сказала, задумчиво поглядывая в окно на сізое небо:

— Да, были мы с отцом твоим крови не родной, а души одной...

Иногда, во время её рассказа, входил дед, поднимал сверху лицо хорька, нюхал острым носом воздух, подозрительно оглядывая бабушку, слушал её речь и бормотал:

— Ври, ври...

Неожиданно спрашивал:

— Лексей, она тут пила вино?

— Нет.

— Врёшь, по глазам вижу.

И нерешительно уходил. Бабушка, подмигнув вслед ему, говорила какую-нибудь прибаутку:

— Проходи, Авдей, не пугай лошадей... — И засмеялась, покачивая головою.

— Ах, дедушка, дедушка, малая ты пылинка в божьем глазу! Лёнька, ты только молчи про это! — разорился ведь дедушка-то дотла! Дал барину одному большущие деньги-тысячи, а барин-то обанкрутился...

Улыбаясь, она задумалась, долго сидела молча, а большое лицо её морщилось, становясь печальным, темнея.

Мать всходила на чердак ко мне редко, не оставалась долго со мною, говорила торопливо. Она становилась всё красивее, всё лучше одевалась, но и в ней, как в бабушке, я чувствовал что-то новое, спрятанное от меня, чувствовал и догадывался.

Всё меньше занимали меня сказки бабушки, и даже то,

уговаривал меня — keelitas mind
бесстыдница — häbitu, riivatu
глотать — neelama; глоток
водки — lonks viina
сізое — sinkjas-hall
хорёк — tuhkur
подозрительно — kahtlustavalt

прибаутка — kõnekäänd
пылинка — tolmukübeke
разорился дотла — on jäänud
riipaljaks
обанкрутился = обанкротился
догадываться — aimama

что рассказывала она про отца, не успокаивало смутной, но разрастающейся с каждым днём тревоги.

— Отчего беспокоится отцова душа? — спрашивал я бабушку.

— А как это знать? — говорила она, прикрывая глаза. — Это дело божие, небесное, нам неизвестное...

Ночами, бессонно глядя сквозь синие окна, как медленно плывут по небу звёзды, я выдумывал какие-то печальные истории, — главное место в них занимал отец, он всегда шёл куда-то, один, с палкой в руке, и — мохнатая собака сзади его...

ХII

1

... На улицу меня пускали редко, каждый раз я возвращался домой избитый мальчишками, — драка была любимым и единственным наслаждением моим, я отдавался ей со страстью. Мать хлестала меня ремнём, но наказание ещё более раздражало, и в следующий раз я бился с ребятами яростней, — а мать наказывала меня сильнее. Как-то раз я предупредил её, что, если она не перестанет бить, я укушу её руку, убегу в поле и там замёрзну, — она удивлённо оттолкнула меня, прошла в комнату и сказала, задыхаясь от усталости:

— Зверёныш!

Живая, трепетная радуга тех чувств, которые именуются любовью, выцветала в душе моей, всё чаще вспыхивали угарные синие огоньки злости на всё, тлело в сердце чувство тяжкого недовольства, сознание одиночества в этой серой, безжизненной чепухе.

Вотчим был строг со мной, неразговорчив с матерью, он всё посвистывал, кашлял, а после обеда становился

разрастающаяся тревога — kasvav ärevus

неизвестное = неизвестное

наслаждение — nauding, meelelahutus

отдавался — andusin (kaklusele)

предупредить — hoiatama

зверёныш — metsloomaa poeg

трепетная радуга — värelev vikerkaar

выцветать — tuhmuma

вспыхивали угарные огоньки злости — lõid loitma vingused vihatulukesed

тлеть — hõõguma

в безжизненной чепухе — elutus tühjas-tähjas

вотчим — võõrasisa

перед зеркалом и заботливо, долго ковырял лучинкой в неровных зубах. Всё чаще он ссорился с матерью, сердито говорил ей «вы» — это выканье стчаянно возмущало меня. Во время ссор он всегда плотно прикрывал дверь в кухню, видимо, не желая, чтоб я слышал его слова, но я всё-таки вслушивался в звуки его глуховатого баса.

Однажды он крикнул, топнув ногою:

— Из-за вашего дурацкого брюха я никого не могу пригласить в гости к себе, корова вы эдакая!

В изумлении, в бешеной обиде я так привскочил на полатах, что ударился головою о потолок и сильно прикусил до крови язык себе.

По субботам к вотчиму десятками являлись рабочие продавать записки на провизию, которую они должны были брать в заводской лавке, этими записками им платили вместо денег, а вотчим скупал их за полцены. Он принимал рабочих в кухне, сидя за столом, важный, хмурый, брал записку и говорил:

— Полтора рубля.

— Евгений Васильев, побойся бога...

— Полтора рубля.

Эта нелепая, тёмная жизнь недолго продолжалась; перед тем, как матери родить, меня отвели к деду. Он жил уже в Кунавине, занимая тесную комнату с русской печью и двумя окнами на двор, в двухэтажном доме на Песчаной улице, опускавшейся под горку к ограде кладбища Напольной церкви.

— Что-о? — сказал он, встретив меня, и засмеялся, подвизгивая. — Говорилось: нет милей дружкя, как родимая матушка, а нынче, видно, скажем: не родимая матушка, а старый чорт дедушка! Эх вы-и...

Не успел я осмотреться на новом месте, приехали бабушка и мать с ребёнком, вотчима прогнали с завода за то, что он обира́л рабочих, но он съездил куда-то, и его тотчас взяли на вокзал кассиром по продаже билетов.

ковырял лучинкой — *urgitses
pirgutikuga*

неровные зубы — *ebaühtlased
hambad*

брюхо = живот

отчаянно возмущало меня —
ärritas mind meeletult

изумление — *hämmastus*

полати — *lavats, polut*

нелепая жизнь — *mõttetu elu*

обира́л рабочих = грабил

Прошло много пустого времени, и меня снова переселили к матери в подвальный этаж каменного дома, мать тотчас же сунула меня в школу; с первого же дня школа вызвала во мне отвращение.

Я пришёл туда в материных башмаках, в пальтишке, перешитом из бабушкиной кофты, в жёлтой рубахе и штанах «навыпуск», всё это сразу было осмёяно, за жёлтую рубаху я получил прозвище «бубнового туза». С мальчишками я скоро полáдил, но учитель и поп невзлюбили меня.

Учитель был жёлтый, лысый, у него постоянно текла кровь из носа, он являлся в класс, заткнув ноздри ватой, садился за стол, гнусáво спрашивал уроки и вдруг, замолчав на полуслове, вытáскивал вату из ноздрей, разглядывал её, качая головою. Лицо у него было плóское, мёдное, окисшее, в морщинах лежала какая-то прóзелень, особенно урóдовали это лицо совершенно лишние на нём оловянные глаза, так неприятно прилипáвшие к моему лицу, что всегда хотелось вытереть щёки ладонью.

Несколько дней я сидел в первом отделении, на передней парте, почти вплоть к столу учителя, — это было нестерпимо, казалось, он никого не видит, кроме меня, он гнусил всё время:

— Песко-ов, перемени рубаху-у! Песко-ов, не вози ногами! Песков, опять у тебя с обуви лúза натеклá-а!

Я платил ему за это диким озорством: однажды достал половинку замороженного арбуза, выдолбил её и привязал на нитке к блоку двери в полутёмных сенях. Когда дверь открылась — арбуз взъехал вверх, а когда учитель притворил дверь — арбуз шапкой сел ему прямо на лы-

переселить — ümber asustama
отвращение — vastikustunne
штаны „навыпуск” = не засунутые в сапоги штанины
было сразу осмёяно — paerdi kohe välja
бубновый туз — ruutuäss
полáдить — omavahel sobima
гнусáвить, гнусить — läbi nina kõnelema
окисшее = кислое (лицо)

урóдовали лицо оловянные глаза — moonutasid (ta) nägu tinased silmad
вплоть к столу учителя — üsna õpetaja laua vastas
лúза = лужа (loik)
платил диким озорством — tasusin metsikute koerustükkidega
выдолбил (арбуз) — õonestasin seest tühjaks

сину. Сторож отвёл меня с запиской учителя домой, и я расплатился за эту шалость своей шкуркой.

Другой раз я насыпал в ящик его стола нюхательного табаку; он так расчихался, что ушёл из класса, прислав вместо себя зятя своего, офицера, который заставил весь класс петь «Боже, царя храни» и «Ах ты, воля, моя воля». Тех, кто пел неверно, он щёлкал линейкой по головам, как-то особенно звучно и смешно, но не больно.

Законоучитель, красивый и молодой, пышноволоксый поп, невзлюбил меня за то, что у меня не было «Священной истории ветхого и нового завета», и за то, что я перердразнивал его манеру говорить.

Являясь в класс, он первым делом спрашивал меня:

— Пешков, книгу принёс или нет? Да. Книгу?

Я отвечал:

— Нет. Не принёс. Да.

— Что — да?

— Нет.

— Ну, и — ступай домой! Да. Домой. Ибо тебя учить я не намерен. Да. Не намерен.

Это меня не очень огорчало, я уходил и до конца уроков шатался по грязным улицам слободы, присматриваясь к её шумной жизни.

У попа было благообразное Христово лицо, ласковые, женские глаза и маленькие руки, тоже какие-то ласковые ко всему, что попадало в них. Каждую вещь — книгу, линейку, ручку пера — он брал удивительно хорошо, точно вещь была живая, хрупкая, поп очень любил её и боялся повредить ей неосторожным прикосновением. С ребятами он был не так ласков, но они всё-таки любили его.

Несмотря на то, что я учился сносно, мне скоро было сказано, что меня выгонят из школы за недостойное поведение. Я приуныл, — это грозило мне великими неприят-

законоучитель (м.) — usuõpetaja

священная история — piibililugu

ветхий = старый

новый завет — uus testament

перердразнивать — osatama

ибо = так как

я не намерен — ma ei kavatse

благообразное лицо — kauni-
kujuline nägu

хрупкая вещь — habras asi

прикосновение — puudutus

я учился сносно — õppisin
rahuldavalt

недостойное поведение — kõlb-
matu käitumine

я приуныл — jäin kurvameel-
seks

ностями: мать, становясь всё более раздражительной, всё чаще поколачивала меня.

Но явилась помощь, — в школу неожиданно приехал епископ Хрисанф¹, похожий на колдунá и, помнится, горбáтый.

Когда он, маленький, в широкой чёрной одежде и смешном ведёрке на голове, сел за стол, высвободил руки из рукаво́в и сказал: «Ну, давайте беседовать, дети мои!» — в классе сразу стало тепло, весело, повеяло незнакомо приятным.

Вызвав после многих меня к столу, он спросил серьёзно:

— Тебе — который год? Только-о? Какой ты, брат, длинный, а? Под дождьями часто стоял, а?

Положив на стол сүхонькую руку, с большими острыми ногтями, забрав в пальцы непышную боро́дку, он уставился в лицо мне добрыми глазами, предложив:

— Ну-ко, расскажи мне из свящённой истории, что тебе нравится?

Когда я сказал, что у меня нет книги и я не учу священную историю, он поправил клобу́к² и спросил:

— Как же это? Ведь это надобно учить! А может, что-нибудь знаешь, слыхал? Псалти́рь знаешь? Это хорошо! И молитвы? Ну, вот видишь! Да ещё и жития? Стихами? Да ты у меня знающий.

Явился наш поп, красный, запыхáвшийся, епископ благослови́л его, но когда поп стал говорить про меня, он поднял руку, сказав:

— Позвольте, минутку... Ну-ко, расскажи про Алексея человека божия...

— Прехорошие стихи, брат, а? — сказал он, когда я

похожий на колдунá — pōia-	рука́в — káis, varrukas
sagpane	
горбáтый — küügakas	запыхáться — hingeldama
ведро, ведёрко — ämber, ämb-	благослови́ть — õnnistama
rike	

¹ Автор известного трёхтомного труда «Религии древнего мира», статьи «Египетский метампсихоз», а также публицистической статьи «О браке и женщине». Эта статья, в юности прочитанная мною, прсизвела на меня сильное впечатление. (Примеч. автора.) Метампсихоз — религиозно-мистическое учение о переселении души из одного организма после его смерти в другой.

² Клобу́к — высокая мона́шеская шапка с покрывáлом.

приостановился, забыв какой-то стих. — А ещё что-нибудь?.. Про царя Давида? Очень послушаю!

Я видел, что он действительно слушает и ему нравятся стихи; он спрашивал меня долго, потом вдруг остановил, осведомляясь, быстро:

— По псалтирю учился? Кто учил? Добрый дедушка-то? Злой? Неужто? А ты очень озорничáешь?

Я замýлся, но сказал — да. Учитель с попом много-словно подтверди́ли моё сознáние, он слушал их, опустив глаза, потом сказал, вздохнув:

— Вот что про тебя говорят — слышал? Ну-ко, по-дойди!

Положив на голову мне руку, от которой исходил запах кипарисового дерева, он спросил:

— Чего же это ты озорничáешь?

— Скушно очень учиться.

— Скучно? Это, брат, неверно что-то. Было бы тебе скучно учиться — учился бы ты плохо, а вот учителя свидетельствуют, что хорошо ты учишься. Значит, есть что-то другое.

Вынув маленькую книжку из-за пáзухи, он записал:

— Пешков, Алексей. Так. А ты всё-таки сдёрживался бы, брат, не озорничáл бы много-то! Немножко — можно, а уж много-то досáдно людям бывает! Так ли я говорю, дети?

Множество голосов весело ответили:

— Так.

— Вы сами-то ведь немного озорничáете?

Мальчишки, ухмыляясь, заговорили:

— Нет. Тоже много! Много!

Епископ отклонился на спíнку стула, прижал меня к себе и удивлённо сказал, так, что все — даже учитель с попом — засмеялись:

— Экое дело, братцы мои, ведь и я тоже в ваши-то годы великим озорникóм был! Отчего бы это, братцы?

а ты очень озорничáешь? — kas	сдёрживаться — end tagasi
teed väga palju koerust?	hoidma
подтверди́ли моё сознáние —	досáдно — teeb (inimestele)
kinnitasid mu ülestunnistust	meelepaha
запах кипарисового дерева —	отклонился на спíнку стула —
küpressipuu lõhn	pajatus tooliseljale
из-за пáзухи — põuest	прижál к себе — surus enda vastu

Дети смеялись, он расспрашивал их, ловко путая всех, заставляя возражать друг другу, и всё усугублял весёлость. Наконец встал и сказал:

— Хорошо с вами, озорники, да пора ехать мне!

Поднял руку, смахнув рукав к плечу, и, крестя всех широкими взмахами, благословил:

— Во имя отца и сына и святого духа, благословляю вас на добрые труды! Прощайте.

Все закричали:

— Прощайте, владыко! Опять приезжайте.

Кивая кlobуком, он говорил:

— Я — приеду, приеду! Я вам книжек привезу!

И сказал учителю, выходя из класса:

— Отпустите-ка их домой!

Он вывел меня за руку в сени и там сказал тихонько, наклонясь ко мне:

— Так ты — сдерживайся, ладно? Я ведь понимаю, зачем ты озорничáешь! Ну, прощай, брат!

Я был очень взволнован, какое-то особенное чувство кипело в груди, и даже — когда учитель, распустив класс, оставил меня и стал говорить, что теперь я должен держаться тише воды, ниже травы, — я выслушал его внимательно, охотно.

Поп, надевая шубу, ласково гудел:

— Отныне ты на моих уроках должен присутствовать! Да. Должен. Но — сиди смиренно! Да. Смирно.

3

Поправились дела мои в школе — дома разыгралась скверная история: я украл у матери рубль. Это было преступлением без заранее обдуманного намерения.

Однажды вечером мать ушла куда-то, оставив меня домовничать с ребёнком; скучая, я развернул одну из

усугублял = увеличивал (весёлость)

широкими взмахами — laiade k e l o kidega

владыко — valitseja; rahvakeeles: piiskop

отныне — n udsest peale

смирённо — vagusi

разыгралась скверная история — juhtus paha lugu

я украл рубль — ma varastasin rubla

домовничать = хозяйничать

книг вóтчима — «Записки врача» Дюма-отца¹ — и между страниц увидел два билета — в десять рублей и в рубль. Книга была непонятна, я закрыл её и вдруг сообразил, что за рубль можно купить не только «Священную историю», но, наверное, и книгу о Робинзоне. Что такая книга существует, я узнал незадолго перед этим в школе: в морозный день, во время перемены, я рассказывал мальчикам сказку, вдруг один из них презрительно заметил:

— Сказки — чушь, а вот Робинзон — это настоящая история!

Нашлось ещё несколько мальчиков, читавших Робинзона, все хвалили эту книгу, я был обижен, что бабушкина сказка не понравилась, и тогда же решил прочитать Робинзона, чтобы тоже сказать о нём: это чушь!

На другой день я принёс в школу «Священную историю» и два растрёпанных томика сказок Андерсена, три фунта белого хлеба и фунт колбасы. В тёмной, маленькой лавочке у ограды Владимирской церкви был и Робинзон, тощая книжонка в жёлтой обложке, и на первом листе изображён бородатый человек в меховом колпаке, в звериной шкуре на плечах, — это мне не понравилось, а сказки даже и по внешности были милые, несмотря на то что растрёпаны.

Во время большой перемены я разделил с мальчиками хлеб и колбасу, и мы начали читать удивительную сказку «Соловей» — она сразу взяла всех за сердце.

«В Китае все жители — китайцы, и сам император — китаец», — помню, как приятно удивила меня эта фраза своей простотой, весело улыбающейся музыкой и ещё чем-то удивительно хорошим.

я вдруг сообразил — ma taipa-
sin äkki
сказки — чушь — muinasjutud
on tühi lora
у ограды церкви — kiriku aia-
müüri juures

тощий — kõhetu
в жёлтой обложке — kollaste
kaantega
в меховом колпаке — karus-
nahkses mütsis

¹ Дюма-отец — французский романист и драматург Дюма Александр (1803—1870), которого принято называть Дюма-отцом в отличие от его сына — писателя Дюма Александра младшего (1824—1895). Дюма-отец — автор романов «Граф Монте-Кристо» и др.

Мне не удалось дочитать «Соловья» в школе — не хватило времени, а когда я пришёл домой, мать, стоявшая у шестка со сковородником в руках, поджаривая яичницу, спросила меня странным, погашенным голосом:

— Ты взял рубль?

— Взял; вот — книги...

Сковородником она меня и побила весьма усердно, а книги Андерсена отняла и навсегда спрятала куда-то, что было горше побоев.

Несколько дней я не ходил в школу, а за это время вотчим, должно быть, рассказал о подвиге моём сослуживцам, те — своим детям, один из них принёс эту историю в школу, и, когда я пришёл учиться, меня встретили новой кличкой — вор. Коротко и ясно, но — неправильно: ведь я не скрыл, что рубль взят мною. Попытался объяснить это — мне не поверили, тогда я ушёл домой и сказал матери, что в школу не пойду больше.

Сидя у окна, снова беременная, серая, с безумными, замученными глазами, она кормила брата Сашу и смотрела на меня, открыв рот, как рыба.

— Ты — врешь, — тихо сказала она. — Никто не может знать, что ты взял рубль.

— Поди, спроси.

— Ты сам проболтался. Ну, скажи — сам? Смотри, я сама узнаю завтра, кто принёс это в школу!

Я назвал ученика. Лицо её жалобно сморщилось и начало таять слезами.

Я ушёл в кухню, лёг на свою постель, устроенную за печью на ящиках, лежал и слушал, как в комнате тихонько вóет мать:

— Боже мой, боже мой...

Терпения не стало лежать в противном запахе нагретых, солевых тряпок, я встал, пошёл на двор, но мать крикнула:

— Куда ты? Куда? Иди ко мне!..

Потом мы сидели на полу, Саша лежал в коленях матери, хватал пуговицы её платья, кланялся и говорил:

— Бувуга, — что означало: пуговка.

шесток — leelõugas
сковородник в руках — ranni-
gaud pihus
сослуживец — kaasametnik

скрывать — varjama, salgama
попытался = старался
пуговица — pöör

Я сидел, прижавшись к боку матери, она говорила, обняв меня:

— Мы — бедные, у нас каждая копейка, каждая копейка...

И всё не договаривала чего-то, т́ская меня горячей рукою.

— Экая дрянь... дрянь! — вдруг сказала она слова, которые я уже слышал от неё однажды.

Саша повторил:

— Дянь!

Странный это был мальчик: неуклюжий, большеголовый, он смотрел на всё вокруг прекрасными, синими глазами, с тихой улыбкой и словно ожидая чего-то. Говорить он начал необычно рано, никогда не плакал, живя в непрерывном состоянии тихого веселья. Был слаб, едва ползал и очень радовался, когда видел меня, просился на руки ко мне, любил мять уши мои маленькими мягкими пальцами, от которых почему-то пахло фиалкой. Он умер неожиданно, не хворая; ещё утром был тихо весел, как всегда, а вечером, во время благовеста ко всенощной, уже лежал на столе. Это случилось вскоре после рождения второго ребёнка, Николая.

Мать сделала, что обещала; в школе я снова устроился хорошо, но меня опять перебрóсило к деду.

Однажды, во время вечернего чая, войдя со двора в кухню, я услышал надóрванный крик матери:

— Евгений, я тебя прошу, прошу...

— Глу-по-сти! — сказал вотчим.

— Но ведь я знаю — ты к ней идёшь!

— Н-ну?

Несколько секунд оба молчали, мать закашлялась, говоря:

— Какая ты злая дрянь...

Я слышал, как он ударил её, бросился в комнату и увидел, что мать, упав на колени, оперлась спиной и локтями о стул, выгнув грудь, закинув голову, хрипя и

т́ска́ть — pigistama

дрянь (ж.) — näru

неуклюжий — kohmakas

хворать — põdema

благовест = церковный коло-
кольный звон

надóрванный крик — sūdant-
lõhestav, ängistav kisa

оперлась спиной и локтями о
стул — toetus selja ja küü-
narnukkidega vastu tooli

выгнув грудь — rinda ette pai-
nutades

страшно блестя глазами, а он, чисто одетый, в новом мундире, бьёт её в грудь длинной своей ногою. Я схватил со стола нож с костяной ручкой в серебре, — им резали хлеб, это была единственная вещь, оставшаяся у матери после моего отца, — схватил и со всею силою ударил вотчима в бок.

По счастью, мать успела оттолкнуть Максимова, нож проехал по боку, широко распорóв мундир и только оцарапав кожу. Вотчим, óхнув, бросился вон из комнаты, держась за бок, а мать схватила меня, приподняла и с рёвом бросила на пол. Меня óтнял вóтчим, вернувшись со двора.

Поздно вечером, когда он всё-таки ушёл из дома, мать пришла ко мне за печку, осторожно обнимала, целовала меня и плакала:

— Прости, я виновата! Ах, милый, как ты мог? Ножом?

Я совершенно искренно и вполне понимая, что говорю, сказал ей, что зарéжу вотчима и сам тоже зарéжусь. Я думаю, что сделал бы это, во всяком случае попробовал бы. Даже сейчас я вижу эту подлую, длинную ногу, с ярким кантом вдоль штанины, вижу, как она раскáчивается в воздухе и бьёт носком в грудь женщины.

Вспоминая эти свинцовые мёрзости дикой русской жизни, я минутами спрашиваю себя: да сто́ит ли говорить об этом? И, с обновлённой увéренностью, отвечаю себе — сто́ит; ибо это — живúчая, подлая правда, она не издохла и по сей день. Это та правда, которую необходимо знать до корня, чтобы с корнем же и выдрать её из памяти, из души человека, из всей жизни нашей, тяжкой и позóрной.

И есть другая, более положительная причина, по-нуждающая меня рисовать эти мёрзости. Хотя они и противны, хотя и давят нас, до смерти расплющивая множество прекрасных душ, — русский человек всё-таки

распорóв мундír — lõigates

mundri lõhki

искренно — avameelselt, siiralt

пóллая ногá — nurjatu jalg

раскáчивается в воздухе —

pendeldab õhus

свинцовáя мёрзость — tinaraske

jäledus

не издохла = не умерла (pole

kärvanud)

выдрать (= вырвать) из памяти

mälestusest välja kiskuda

тяжкая и позóрная жизнь —

rõhuv ja häbistav elu

положительная причина — posi-

tiivne põhjus

понуждающий = заставляющий

расплющивать душу — hinge

purustama

настолько ещё здоров и молод душою, что преодолевает и преодолевает их.

Не только тем изумительна жизнь наша, что в ней так плодовит и жирен пласт всякой скотской дряни, но тем, что сквозь этот пласт всё-таки победно прорастает яркое, здоровое и творческое, растёт доброе — челове́чье, возбуждая несокрушимую надежду на возрождение наше к жизни светлой, человеческой.

XIII

1

Снова я у деда.

— Что, разбойник? — встретил он меня, стуча рукою по столу. — Ну, теперь уж я тебя кормить не стану, пускай бабушка кормит!

— И буду, — сказала бабушка. — Эка задача, подумаешь!

— Вот и корми! — крикнул дед, но тотчас успокоился, объяснив мне:

— Мы с ней совсем разделились, у нас теперь все порознь...

Бабушка, сидя под окном, быстро плела кружева, весело щёлкали коклюшки, золотым ежом блестела на вешнем солнце подушка, густо усéянная мёдными булávками. И сама бабушка, точно из мёди лита, — неизменна! А дед ещё более ссохся, сморщился, его рыжие волосы посерели, спокойная важность движений сменилась горячей суетливостью, зелёные глаза смотрят подозрительно. Посмеиваясь, бабушка рассказала мне о разделе имущества между ею и дедом: он отдал ей все горшки, плóшки, всю посуду и сказал:

изумительный — imetusväärne
плодовит и жирен — sigitav ja
gammus
пласт скотской дряни — elajali-
liku närususe kiht
несокрушимая надежда — van-
kumatu lootus
возрождение — uuestisünd

всё порознь — kõik eraldi
плела кружева — punus pitsi
щёлкали коклюшки — kõlksu-
sid niplamisvardad
вешнее = весеннее (солнце)
суетливость — kärsitus
горшки и плóшки — potid ja
kausikesed

— Это — твоё, а больше ничего с меня не спрашивай!

Затем отобрал у неё все старинные платья, вещи, лисий салоп, продал всё за семьсот рублей, а деньги отдал в рост под проценты своему крестнику-еврею, торговцу фруктами. Он окончательно заболел скупостью и потерял стыд: стал ходить по старым знакомым, бывшим сослуживцам своим в ремесленной управе, по богатым купцам и, жалуясь, что разорён детьми, выпрашивал у них денег на бедность. Он пользовался уважением, ему давали обильно, крупными билетами; размахивая билетом под носом бабушки, дед хвастался и дразнил её, как ребёнок:

— Видала, дура? Тебе сотой доли этого не дадут!

Собранные деньги он отдавал в рост новому своему приятелю, длинному и лысому скорняку, прозванному в слободке Хлыстом, и его сестре — лавочнице, дородной, краснощёкой бабе, с карими глазами, томной и сладкой, как патока.

Всё в доме строго делилось: один день обед готовила бабушка из провизии, купленной на её деньги, на другой день провизию и хлеб покупал дед, и всегда в его дни обеда бывали хуже: бабушка брала хорошее мясо, а он — требуху, печёнку, лёгкие, сычуг. Чай и сахар хранился у каждого отдельно, но заваривали чай в одном чайнике, и дед тревожно говорил:

— Постой, погоди, — ты сколько положила?

Высыплет чайники на ладонь себе и, аккуратно пересчитав их, скажет:

— У тебя чай-то мельче моего, значит — я должен положить меньше, мой крупнее, наваристее.

Он очень следил, чтобы бабушка наливала чай и ему и себе одной крепости и чтоб она выпивала одинаковое с ним количество чашек.

лисий салоп — rebasenhkne
mantel
ремесленная управа — käsitöo-
liste tsunfti juhatus
давали обильно — anti ohtrasti
лысый скорняк — kiilaspäine
kõõsper
томный — igatsev

патока — siirup
требуха, печёнка — rupskid,
maks
лёгкие, сычуг — kopsud, libe-
magu
наваристый чай — tee, mis
keetmisel rohkem värvi annab

— По последней, что ли? — спрашивала она перед тем, как слить весь чай.

Дед заглядывал в чайник и говорил:

— Ну, уж — по последней!

Даже масло для лампадки пред образом каждый покупал своё, — это после полусотни лет совмѣстного труда!

Мне было и смешно и противно видеть все эти дедовы фокусы, а бабушке — только смешно.

— А ты — полно! — успокаивала она меня. — Ну, что такое? Стар старичок, вот и дурит! Ему ведь восемь десятков, — отшагай-ка столько-то! Пускай дурит, кому горе? А я себе да тебе — заработаю кусок, небойсь!

Я тоже начал зарабатывать деньги: по праздникам, рано утром, брал мешок и отправлялся по дворам, по улицам собирать говяжьѣ кости, тряпки, бумагу, гвозди. Пуд тряпок и бумаги вѣтошники покупали по двугрѣвному, железо — тоже, пуд костей по грѣвеннику, по восемь копеек. Занимался я этим делом и в будни после школы, продавая каждую субботу разных товаров копеек на тридцать, на полтинник, а при удаче и больше. Бабушка брала у меня деньги, торопливо совала их в карман юбки и похваливала меня, опустив глаза:

— Вот и спасибо те, голуба душа! Мы с тобой не прокормимся, — мы? Велико дело!

Однажды я подсмотрел, как она, держа на ладони мои пятаки, глядела на них и молча плакала, одна мутная слеза висела у неё на носу. В школе мне снова стало трудно, ученики высмѣивали меня, называя вѣтошником, нищобродом, а однажды, после ссоры, заявили учителю, что от меня пахнет помойной ямой и нельзя сидеть рядом со мной. Помню, как глубоко я был обижен этой жалобой и как трудно было мне ходить в школу после неё. Жалоба была выдумана со зла: я очень усердно мылся каждое утро и никогда не приходил в школу в той одежде, в которой собирал тряпьё.

Но вот, наконец, я сдал экзамен в третий класс, получил в награду евангелие, басни Крылова в переплѣте и

совмѣстный труд — ühine töö
ja vaev

вот и дурит = делает глупости
говяжьѣ кости — loomakondid

вѣтошник — kaltsukaupmees

высмѣивать — välja naerma

нищоброд — hulkuv kerjus

помойная яма — solgiauk

ещё книжку без переплёта, с непонятным титулом — «Фата-Моргана», дали мне также похвальный лист. Когда я принёс эти подарки домой, дед очень обрадовался, растрогался и заявил, что всё это нужно беречь и что он запрет книги в укладку себе. Бабушка уже несколько дней лежала больная, у неё не было денег, дед охал и взвизгивал:

— Опиваете вы меня, объедаете до костей, эх вы-и...

Я отнёс книги в лавочку, продал их за пятьдесят пять копеек, отдал деньги бабушке, а похвальный лист испортил какими-то надписями и тогда же вручил деду. Он бережно спрятал бумагу, не развернув её и не заметив моего озорства.

Разделавшись со школой, я снова зажил на улице, теперь стало ещё лучше, — весна была в разгаре, заработок стал обильный, по воскресеньям мы всей компанией с утра уходили в поле, в сосновую рощу, возвращались в слободу поздно вечером, приятно усталые и ещё более близкие друг другу.

Но эта жизнь продолжалась недолго — вотчиму отказали от должности, он снова куда-то исчез, мать, с маленьким братом Николаем, переселилась к деду, и на меня была возложена обязанность няньки, — бабушка ушла в город и жила там в доме богатого купца, вышивая покрыв на плащаницу.

2

Немая, высохшая мать едва передвигала ноги, глядя на всё страшными глазами, брат был золотушный, с язвами на щиколотках, и такой слабенький, что даже плакать громко не мог, а только стонал потрясаяще, если был голоден, сытый же дремал и сквозь дрему как-то странно вздыхал, мурлыкал тихонько, точно котёнок.

Внимательно ощутив его, дед сказал:

растрогался и заявил — oli
väga liigutatud ja teatas

укладка = небольшой сундук

бережно спрятал — peitis hoolikalt

весна была в разгаре — kevad
oli täies hoos

плащаница = кусок ткани с изображением тела Христа в гробу

золотуха — päarmetiisikus

язвы на щиколотках — paiseldatud pahkludel

стонал потрясаяще — oigas südantvapistavalt

— Кормить бы надобно его хорошенько, да не хватает у меня кормов-то на всех вас . . .

Мать, сидя в углу на постели, хрипло вздохнула:

— Ему немного надо . . .

— Тому — немного, этому — немного, и выходит много . . .

Он махнул рукой и обратился ко мне:

— Держать Николая надо на воле, на солнышке, в песке . . .

Я натаскал мешком чистого сухого песку, сложил его кучей на припёке под окном и зарывал брата по шею, как было указано дедушкой. Мальчику нравилось сидеть в песке, он сладко жмурился и светил мне необыкновенными глазами — без белков, только одни голубые зрачки, окружённые светлым колечком.

Я сразу и крепко привязался к брату, мне казалось, что он понимает всё, о чём думаю я, лёжа рядом с ним на песке под окном, откуда ползёт к нам скрипучий голос деда:

— Умереть — не велика мудрость, ты бы вот жить умела!

Мать затяжно кашляет . . .

Высвободив ручки, мальчик тянется ко мне, покачивая белой головёнкой; волосы у него редкие, отливают сединой, а личико старенькое, мудрое.

Если близко к нам подходит курица, кошка — Коля долго присматривается к ним, потом смотрит на меня и чуть заметно улыбаётся, — меня смущает эта улыбка — не чувствует ли брат, что мне скучно с ним и хочется убежать на улицу, оставив его?

В полдень дед, высунув голову из окна, кричал:

— Обедать!

Он сам кормил ребёнка, держа его на коленях у себя, — пожуёт картофеля, хлеба и кривым пальцем сънет в ротик Коли, пачкая тонкие его губы и остренький подбородок. Покормив немного, дед приподнимал руба-

я привязался к брату — kiin-
dusin vennakesse
ползти — goomata
скрипучий голос — kriuksuv
hää!

затяжно кашляет — kõhib
kauakestvalt
пожуёт картофеля — mälub kar-
tulit
пачкать — määrima

шбнку мальчика, тыкал пальцем в его вздутый животик и вслух соображал:

— Будет, что ли? Али ещё дать?

Из тёмного угла около двери раздавался голос матери:

— Видите же вы — он тянется за хлебом!

— Ребёнок глуп! Он не может знать, сколько надо ему съестъ . . .

И снова совал в рот Коли жвачку. Смотреть на это кормление мне было стыдно до боли, внизу горла меня душило и тошнило.

— Ну, ладно! — говорил, наконец, дед. — На-ко, отнеси его матери.

Я брал Колю — он стонал и тянулся к столу. Навстречу мне, хрипя, поднималась мать, протягивая сухие руки без мяса на них, длинная, тонкая, точно ель с обломанными ветвями.

Она совсем онемела, редко скажет слово кипящим голосом, а то целый день молча лежит в углу и умирает. Что она умирала — это я, конечно, чувствовал, знал, да и дед слишком часто, назойливо говорил о смерти, особенно по вечерам, когда на дворе темнело и в окна влезал тёплый, как овчина, жирный запах гнили. — — —

Умерла она в августе, в воскресенье, около полудня. Вотчим только что воротился из своей поездки и снова где-то служил, бабушка с Колей уже перебралась к нему, на чистенькую квартирку около вокзала, туда же на днях должны были перевезти и мать.

Утром, в день смерти, она сказала мне тихо, но более ясным и лёгким голосом, чем всегда:

— Сходи к Евгению Васильевичу, скажи — прошу его прийти!

Приподнялась на постели, упираясь рукою в стену, и села, добавив:

— Скорей беги!

Мне показалось, что она улыбается, и что-то новое све-

вздутый животик — punnis
kõhuke

вслух соображал — arutas kuul-
davalt

тянется за хлебом — küünitab
leiva järele

жвачка — mälutud puid

меня душило — (miski) kãgis-
tas mind

онемела = стала немой, не
говорила

назойливо говорил о смерти —
kõneles pealetükkivalt sur-
mast

запах гнили — mädalõhn

тилось в её глазах. Вотчим был у обѣдни, бабушка послала меня за табаком к еврейке-бѣдочнице, готового табаку не оказалось, пришлось ждать, пока бѣдочница натѣрла табаку, потом отнести его бабушке.

Когда я воротился к деду, мать сидела за столом, одѣтая в чистое сирѣневое платье, красиво причѣсанная, важная попрежнему.

— Тебе стало лучше? — спросил я, оробѣв почему-то.

Жѣтко глядя на меня, она сказала:

— Поди сюда! Ты где шлѣлся, а?

Я не успел ответить, как она, схватив меня за волосы, взяла в другую руку длинный гѣбкий нож, сделанный из пилы, и с размаха несколько раз ударила меня плашмя, — нож вырвался из руки у неё.

— Подними! Дай...

Я поднялъ нож, бросил его на стол, мать оттолкнула меня; я сел на пристѣпок печи, испуганно следя за нею.

Встав со стула, она медленно передвинулась в свой угол, легла на постель и стала вытирать платком вспотѣвшее лицо. Рука её двигалась невѣрно, дважды упала мимо лица на подушку и провела платком по ней.

— Дай воды...

Я зачерпнул из ведра чашкой, она, с трудом приподняв голову, отхлебнула немножко и отвела руку мою холодной рукою, сильно вздохнув. Потом взглянула в угол на иконы, перевела глаза на меня, пошевелила губами, словно усмехнувшись, и медленно опустила на глаза длинные ресницы. Локти её плотно прижались к бокам, а руки, слабо шевеля пальцами, ползли на грудь, подвигаясь к горлу. По лицу её плыла тень, уходя вглубь лица, натягивая желтую кожу, заострив нос. Удивленно открывался рот, но дыхания не было слышно.

сирѣневое платье — sirelivärvi kleit

оробѣв — araks muutudes

жѣтко глядя на меня — vaadeldes mind õudsel pilgul

ты где шлѣлся? — kus sa kolasid?

гѣбкий нож — painduv nuga

с размаха — täie hooga

плашмя — lapiti

нож вырвался из руки = упал

я сел на пристѣпок печи — istusin ahjuastmele

вытирать вспотѣвшее лицо — higist nägu pühkima

зачерпнуть — (vett) võtma, ammeldama

отхлебнуть — güürama

горло — kurk

Неизмеримо долго стоял я с чашкой в руке у постели матери, глядя, как застывает, сереет её лицо.

Вошёл дед, я сказал ему:

— Умерла мать...

Он заглянул на постель.

— Что врешь?

Ушёл к печи и стал вынимать пирог, оглушительно гремя заслоном и противнем. Я смотрел на него, зная, что мать умерла, ожидая, когда он поймёт это.

Пришёл вóтчим в парусиновом пиджаке, в белой фуражке. Бесшумно взял стул, понёс его к постели матери и вдруг, ударив стулом о пол, крикнул громко, как медная труба:

— Да она умерла, смотрите...

Дед, вёртаращив глаза, тихонько двигался от печи с заслоном в руке, спотыкаясь, как слепой.

Когда гроб матери засыпали сухим песком и бабушка, как слепая, пошла куда-то среди могил, она наткнулась на крест и разбила себе лицо. Язев отец отвел её в сторожку, и, пока она умывалась, он тихонько говорил мне утешительные слова:

— Ах ты, — не дай бог бессонницу, чего ты, а? Уж это — такое дело... Верно я говорю, бабушка? И богату и просто — всем дорога к погосту, — так ли, бабушка?

Взглянув в окно, он вдруг выскочил из сторожки, но тотчас же вернулся вместе с Вяхирем, сияющий, веселый.

— Ты гляди-ко, — сказал он, протягивая мне сломанную шпору, — гляди, какая вещь! Это мы с Вяхирем тебе дарим. Гляди — колёсико, а? Не иначе — казак носил да потерял... Я хотел купить у Вяхиря штучку эту, семейшник давал...

— Что ты врешь! — тихо, но сердито сказал Вяхирь, а Язев отец, прыгая предо мною, подмигивал на него и говорил:

неизмеримо долго — äraarva-
mata kaua
как застывает, сереет её лицо
— kuidas ta nägu tardub ja
tuhmub
гремя заслоном и противнем —
kolistades ahjupeldi ja ran-
niga
наткнулась на крест — põrkas
vastu risti

сторожка — vahimajake
утешительные слова — lohuta-
vad sõnad
бессонница — unetus
и богату и просто = и богатому
и бедному
погост = сельское кладбище
(kalmistu)
шпора — kannus
семейшник = 2 копейки

— Вяхирь-то, а? Стрóгий! Ну — не я, он дарит это тебе, он...

Бабушка умылась, закутала платком вспухшее, синее лицо и позвала меня домой, — я отказался, зная, что там, на поминках, будут пить водку и, наверное, посядутся. Дядя Михаил ещё в церкви вздыхал, говоря Якову:

— Выпьём сегодня, а?

Вяхирь старался рассмешить меня: нацепил шпору на подбородок и доставал репеек языком, а Язев отец нарочито громко хохотал, вскрикивая:

— Гляди, ты гляди, чего он делает! — Но, видя, что всё это не веселит меня, он сказал серьёзно: — Ну — буде, очнись-ка! Все умрём, даже птица умирает. Вот что: я тебе материну могилу дёрном обложу — хошь? Вот сейчас пойдём в поле, — ты, Вяхирь, я; Санька мой с нами; нарежем дёрна и так устроим могилу — лучше нельзя!

Мне понравилось это, и мы пошли в поле.

Через несколько дней после похорон матери дед сказал мне:

— Ну, Алексей, ты — не медаль, на шее у меня — не место тебе, а иди-ка ты в люди...

И пошёл я в люди.

закутала платком вспухшее
лицо — mässis paistetanud
näo rätikusse
на поминках — peiedel
(старался) рассмешить = за-
ставить смеяться
репеек — (kannuse)rattake

нарочито = нарочно (nimme)
очнись-ка — tule nüüd mõistu-
sele
обложу дёрном материну мо-
гилу — katan su ema haia
mugumättaga
в люди — inimeste sekka

В ЛЮДЯХ

I

1

Я — в людях, служу «мальчиком» при магазине «модной обуви», на главной улице города.

Мой хозяин — маленький, круглый человек; у него буро́е, стёртое лицо, зелёные зубы, водянисто-грязные глаза. Он кажется мне слепым, и, желая убедиться в этом, я делаю гримасы.

— Не криви рожу, — тихо́нко, но строго говорит он. Неприятно, что эти мутные глаза видят меня, и не верится, что они видят, — может быть, хозяин только догадывается, что я гримасничаю?

— Я сказал — не криви рожу, — ещё тише внушает он, почти не шевеля толстыми губами.

— Не чешь рук, — ползёт ко мне его сухой шопот. — Ты служишь в первоклассном магазине на главной улице города, это надо помнить! Мальчик должен стоять при двери, как стату́й...

Я не знаю, что такое стату́й, и не могу не чесать рук, — обе они до локтей покрыты красными пятнами и язвами, их нестерпимо разъедает чесоточный клещ.

— Ты чем занимался дома? — спрашивает хозяин, рассматривая мои руки.

Я рассказываю, он качает круглой головой, плотно оклёенной серыми волосами, и обидно говорит:

— Вётошничество — это хуже нищенства, хуже воровства.

бу́рое, стёртое лицо — tõmmi,
kulunud nägu
не криви рожу — ära virilda
molu

чесать (чешу́, чешет) — sügama
стату́й = статуя (raidkuju)
чесоточный клещ — sügelislest

... Кроме хозяина, в магазине торговал мой брат, Саша Яковов, и старший приказчик — ловкий, липкий и румяный человек. Саша носил рыженький сюртучок, манишку, галстук, брюки навывпуск, был горд и не замечал меня.

Когда дед привёл меня к хозяину и просил Сашу помочь мне, поучить меня, — Саша важно нахмурился, предупреждая:

— Нужно, чтоб он меня слушался!

Положив руку на голову мою, дед согнул мне шею.

— Слушай его, он тебя старше и по годам и по должности...

А Саша, выкатив глаза, внушил мне:

— Помни, что дедушка сказал!

И с первого же дня начал усердно пользоваться своим старшинством.

По утрам кухарка, женщина больная и сердитая, будила меня на час раньше, чем его; я чистил обувь и платье хозяев, приказчика, Саши, ставил самовар, приносил дров для всех печей, чистил судки для обеда. Придя в магазин, подметал пол, стирал пыль, готовил чай, разносил покупателям товар, ходил домой за обедом; мою должность у двери в это время исполнял Саша и, находя, что это унижает его достоинство, ругал меня:

— Увалень! Работай вот за тебя...

Мне было тягостно и скучно, я привык жить самостоятельно, с утра до ночи на песчаных улицах Кунавина, на берегу мутной Оки, в поле и в лесу. Не хватало бабушки, товарищей, не с кем было говорить, а жизнь раздражала, показывая мне свою неказистую, лживую изнанку.

старший приказчик — vanem sell

липкий и румяный — kleepuv ning punetav

рыжий сюртук — ripakas kuub

важно нахмурился — tõmbas tähtsalt kulnud kortsu

предупреждать — hoiatama

слушаться — sõna kuulma

согнул шею — painutas (mu) kaela alla

по должности — ameti poolest
он внушил — ta sisendas, rõhutas

судок (судки) — toidunõu

унижает его достоинство — alandab tema tähtsust

увалень (м.) — mühakas, lo-gard

неказистая, лживая изнанка — näotu, petlik pahupool

Бежать я решил вечером этого дня, но перед обедом, разогревая на керосинке судок со щами, я, задумавшись, вскипятил их, а когда стал гасить огонь, опрокинул судок себе на руки, и меня отправили в больницу.

Помню тягостный кошмар больницы: в жёлтой, зыбкой пустоте слепо копошились, урчали и стонали серые и белые фигуры в саванах, ходил на костылях длинный человек с бровями, точно усы.

Дед, бабушка да и все люди всегда говорили, что в больнице морят людей, — я считал свою жизнь поконченной. Подошла ко мне женщина в очках и тоже в саване, написала что-то на чёрной доске в моём изголовье, — мел сломался, крошки его посыпались на голову мне.

— Тебя как зовут? — спросила она.

— Никак.

— У тебя же есть имя?

— Нет.

— Ну, не дури, а то высекут!

Я и до неё был уверен, что высекут, а потому не стал отвечать ей. Она фыркнула, точно кошка, и кошкой, бесшумно, ушла.

Зажгли две лампы, их жёлтые огни повисли под потолком, точно чьи-то потёранные глаза, висят и мигают, досадно ослепляя, стремясь сблизиться друг с другом.

В углу кто-то сказал:

— Давай в карты играть?

— Как же я без руки-то?

— Ага, отрезали тебе руку!

Я тотчас сообразил: вот — руку отрезали за то, что человек играл в карты. А что сделают со мной перед тем, как уморить меня?

керосинка — petrooleumikeetja

гасить огонь — tuld kustutama

тягостный кошмар — gusuv paipaja (likkus)

в зыбкой пустоте — hõljuvas tühjuses

копошились и урчали — kohmitsesid ja urisesid

саван — surnurüü

на костылях — karkudel

морить — (surnuks) piinama

не дури — ära albi

я был уверен — olin kindel

досадно ослепляя — tüütuseni pimestades

Руки мне жгло и рвало, словно кто-то вытаскивал кости из них. Я тихонько заплакал от страха и боли, а чтобы не видно было слёз, закрыл глаза, но слёзы приподнимали веки и текли по вискам, попадая в уши.

Пришла ночь, все люди повалились на койки, спрятавшись под серые одеяла, с каждой минутой становилось всё тише, только в углу кто-то бормотал:

— Ничего не выйдет, и он — дрянь, и она — дрянь...

Написать бы письмо бабушке, чтобы она пришла и выкрала меня из больницы, пока я ещё жив, но писать нельзя: руки не действуют и не на чем. Попробовать — не удастся ли улизнуть отсюда?

Ночь становилась всё мертвее, точно утверждаясь навсегда. Тихонько спустив ноги на пол, я подошёл к двери, половинка её была открыта, — в коридоре, под лампой, на деревянной скамье со спинкой, торчала и дымила седая ежовая голова, глядя на меня тёмными впадинами глаз. Я не успел спрятаться.

— Кто бродит? Подь сюда!

Голос не страшный, тихий. Я подошёл, посмотрел на круглое лицо, утыканное короткими волосами, — на голове они были длиннее и торчали во все стороны, окружая её серебряными лучиками, а на поясе человека висела связка ключей. Будь у него борода и волосы длиннее, он был бы похож на апостола Петра.

— Это — вараены руки? Ты чего же шлэндаешь ночью? По какому закону?

Он выдул в грудь и лицо мне много дыма, обнял меня тёплой рукой за шею и привлёк к себе.

— Боишься?

— Боюсь!

— Здесь все боятся вначале. А бояться нечего. Особенно со мной — я никого в обиду не дам... Курить жёлает? Ну, не кури. Это тебе рано, погоди года два... А отец-мать где? Нету отца-матери! Ну, и не надо — без них проживём, только не трусь! Понял?

улизнуть — plehku panema, äga lipsama

утверждаться = установиться (püsima jääma)

тёмными впадинами глаз — tumedate silmakoobastega

лицо, утыканное короткими во-

лосами — nägu, mis tikitud lühikeste karvadega

торчали во все стороны — tolkneseid igasse külge

шлэндать = шлаться, ходить без дела (logelema)

выдувать — (suust) väljapuhuma

Я давно уже не видал людей, которые умеют говорить просто и дружески, понятными словами, — мне было невыразимо приятно слушать его.

Когда он отвёл меня к моей койке, я попросил:

— Посиди со мной!

— Можно, — согласился он.

— Ты — кто?

— Я? Солдат, самый настоящий солдат, кавказский. И на войне был, а — как же иначе? Солдат для войны живёт. Я с венграми воевал, с черкёсом, поляком — сколько угодно! Война, брат, бо-ольшое озорство!

Я на минуту закрыл глаза, а когда открыл их, на месте солдата сидела бабушка в тёмном платье, а он стоял около неё и говорил:

— Поди-ка, померли все, а?

В палате играло солнце, — позолотит в ней всё и спрячется, а потом снова ярко взглянет на всех, точно ребёнок шалит.

Бабушка наклонилась ко мне, спрашивая:

— Что, голубок? Изувечили? Говорила я ему, рыжему бёсу...

— Сейчас я всё сделаю по закону, — сказал солдат, уходя, а бабушка, стирая слёзы с лица, говорила:

— Наш солдат, балахонский, оказался...

Я всё ещё думал, что сон вижу, и молчал. Пришёл доктор, перевязал мне ожоги, и вот я с бабушкой еду на извозчике по улицам города. Она рассказывает:

— А дед у нас — вовсе с ума сходит, так жаден стал — глядеть тошно! Да ещё у него недавно сторублёвую из псалтиря скорняк Хлыст вытащил, новый приятель его. Что было — и-и!

Ярко светит солнце, белыми птицами плывут в небе облака, мы идём по мосткам через Волгу, гудит, вздувается лёд, хлюпает вода под тесинами мостков, на мясисто-красном соборе ярмарки горят золотые кресты. Встретилась ширококоржая баба с охапкой атласных веток вербы в руках — весна идёт, скоро пасха!

Сердце затрепетало жаворонком.

невыразимо приятно — ütle-
mata mõnus
венгры — ungarlased
изувечить — vigastama, san-
dikis tegema

ожоги — põletushaavad
лёд вздувается — jää paisub
хлюпать — lirtsutama
под тесинами мостков — silla-
laudade all

— Люблю я тебя очень, бабушка!

Это её не удивило, спокойным голосом она сказала мне:

— Потому что родной, а меня, не хвастаясь скажу, и чужие любят, слава тебе, богородица!

Улыбаясь, она добавила:

— Вот — обрадуется она скоро, сын воскреснет!
А Варюша, дочь моя...

И — замолчала...

II

... Костромá, Людмила и я сидим у ворót на лавке; Чурка вызвал брата Людмилы борóться, — обнявшись, они тóпчутся на песке и пылят.

— Перестаньте! — боязливо просит Людмила.

Скосив на неё чёрные глаза, Кострома рассказывает про охотника Калинина, седенького старичкá с хитрыми глазами, человека дурной славы, знакомого всей слободé. Он недавно помер, но его не зарыли в песке кладбища, а поставили гроб поверх земли, в стороне от других могил. Гроб — чёрный, на высоких ножках, крышка его расписана белой краской, — изображены крест, копьё, трость и две кости.

Каждую ночь, как только стемнéет, старик встаёт из гроба и ходит по кладбищу, всё чего-то ищет вплоть до первых петухов.

— Не говори о страшном! — просит Людмила.

— Пусти! — кричит Чурка, освобождаясь от объятий брата её, и насмéшливо говорит Костроме: — Что врёшь? Я сам видел, как зарывали гроб, а сверху — пустой, для пáмятника... А что ходит покойник — это пьяные кузнецы выдумали...

Кострома, не глядя на него, сердито предложил:

— Поди переспи на кладбище, коли так!

Они начали спорить, а Людмила, скучно покачивая головой, спрашивала:

— Мамочка, покойники по ночам встают?

они тóпчутся на песке — pad
tamnuvad liival
на крышке гроба — puusärgi
kaanel

трость (ж.) — kepp
объятие — kaisutus
покойник = мертвец

— Встают, — повторила мать, точно издали отозвалось эхо.

Подошёл сын лавочницы, Валёк, толстый, румяный парень лет двадцати, послушал наш спор и сказал:

— Кто из трёх до света пролежит на гробу — двугривенный дам и десяток папирós, а кто струсит — уши надеру, сколько хочу, ну?

Все замолчали, смутясь, а мать Людмилы сказала:

— Глуposti какие! Разве можно детей подбивать на этакое...

— Давай рубль пойду! — угрюмо предложил Чурка.

Кострома тотчас же ехидно спросил:

— А за двугривенный — трусишь? — И сказал Валькú: — Дай ему рубль, всё равно не пойдёт, форсит только...

— Ну, берй рубль!

Чурка встал с земли и молча, не торопясь, пошёл прочь, держась близко к забóру. Кострома, сунув пальцы в рот, произительно свистнул вслед ему, а Людмила тревожно заговорила:

— Ах, господи, хвастунíшка какой... что же это!

— Куда вам, трусы! — издевался Валёк. — А ещё первые бойцы улицы считаетесь, котята...

Было обидно слушать его издёвки; этот сытый парень не нравился нам, он всегда подстрекал ребятишек на злые в́ходки, сообщал им пакостные сплётни о дев́цах и женщинах, учил дразнить их; ребятишки слушались его и больно платились за это. Он почему-то ненавидел мою собаку, бросал в неё камнями; однажды дал ей в хлебе иглу.

Но ещё обиднее было видеть, как уходит Чурка, съёжившись, пристыжённый.

Я сказал Валькú:

— Давай рубль, я пойду...

эхо — kaja
уши надеру — teen kõrvad
tuliseks
подбивать детей — lapsi (hal-
vale) ässitama
форсйт — graalima
произительно — läbilõikavalt
слушать издёвки — kuulata
irvitusi

подстрекать = подбивать (ässi-
tama)
на злые в́ходки — kurjadele
üleannetustele
пакостные сплётни — rõvedad
laimujutud
съёжится — küüru tõmbuma
пристыжённый — silmad häbi
täis

Он, посмеиваясь и пугая меня, отдал рубль Евсе́енкой, но женщина строго сказала:

— Не хочу, не возьму!

И сердито ушла. Людмила тоже не решилась взять бумажку; это ещё более усилило насмешки Валька́. Я уже хотел идти, не требуя с парня денег, но подошла бабушка и, узнав, в чём дело, взяла рубль, а мне спокойно сказала:

— Пальтишко надень да одеяло возьми, а то к утру холодно станет...

Её слова внушили мне надежду, что ничего страшного не случится со мною.

Валёк поставил условием, что я должен до света лежать или сидеть на гробе, не сходя с него, что бы ни случилось, если даже гроб закачается, когда старик Калинин начнёт вылезать из могилы. Спрыгнув на землю, я проигрāju.

— Гляди же, — предупредил Валёк, — я за тобой всю ночь следить буду!

Когда я пошёл на кладбище, бабушка, перекрестив меня, посоветовала:

— Ежели что померещится — не шевелись, а только читай богородицу дево радуйся...

Я шёл быстро, хотелось поскорее начать и кончить всё это. Меня сопровождали Валёк, Кострома и ещё какие-то парни. Перелезая через кирпичную ограду, я запутался в одеяле, упал и тотчас вскочил на ноги, словно подброшенный песком. За оградой хохотали. Что-то ёкнуло в груди, по коже спины пробежал неприятный холодок.

Спотыкаясь, я дошёл до чёрного гроба. С одной стороны он был занесён песком, с другой — его коротенькие, толстые ножки обнажились, точно кто-то пытался приподнять его и пошатнул. Я сел на край гроба, в ногах его, оглянулся: бугроватое кладбище тесно заставлено серыми

поставил условием — seadis tingimuseks

поиграть — (kihlvedu) kaotama

померещится — viirastub

сопровождать — saatma, kaasas käima

что-то ёкнуло в груди — miski võpatas rinnas

занесён песком — liivaga kinni tuisanud

обнажаться — paljastuma

пошатнуть — kõigutama

бугроватое кладбище — künklik surnuaed

тесно заставлено крестами — on riste tihedalt täis

крестами, тени, размахнувшись, легли на могилы, обняли их щетинистые холмы. Кое-где, заплутавшись среди крестов, торчат тонкие, тощие берёзки, связывая ветвями разъединённые могилы; сквозь кружево их теней торчат былинки — эта серая щетина самое жуткое! Снежным сугробом поднялась в небо церковь, среди неподвижных облаков светит маленькая, истаявшая луна.

Язёв отец — Дрянной Мужик — лениво бьёт в сторожевой колокол; каждый раз, когда он дёргает верёвку, она, задевая за железный лист крыши, жалобно поскрипывает, потом раздаётся сухой удар маленького колокола, — он звучит кратко, сучно.

«Не дай господь бессонницу», — вспоминается мне поговорка сторожа.

Жутко. И почему-то — душно, я обливаюсь потом, хотя ночь свежая. Успею ли я добежать до сторожки, в случае если старик Калинин начнёт вылезать из могилы?

Кладбище хорошо знакомо мне, десятки раз я играл среди могил с Язём и другими товарищами. Вон там, около церкви, похоронена мать...

Ещё не всё уснуло, со слободы доносятся всплески смеха, обрывки песен. На буграх, в железнодорожном карьере, где берут песок, или где-то в деревне Катъзовке верещит, захлёбываясь, гармоника, за оградой идёт всегда пьяный кузнец Мячов и поёт.

Приятно слышать последние вздохи жизни, но после каждого удара колокола становится тише, тишина разливается, как река по лугам, всё топит, скрывает. Душа плавает в бескрайней, бездонной пустоте и гаснет, подобно огню спички во тьме, растворяясь бесследно среди океана этой пустоты, где живут, сверкая, только недосыгаемые звёзды, а всё на земле исчезло, ненужно и мёртво.

Закутавшись в одеяло, я сидел, подобрав ноги, на

заплутавшись среди крестов —	верещать —	kääksuna, vin-
eksitud ristide vahele	guta	
разъединённые могилы —	топит всё =	затопляет (uru-
lahutatud kalmud	tab)	
душно —	бездонная пустота —	põhjata
läämmatav	tühjus	
всплески смеха —	недосыгаемые звёзды —	kättes-
paerupursked	saamatud tähed	
обрывки песен —	laulude kat-	
kendid		

гробнице, лицом к церкви, и, когда шевелёлся, гробница поскрипывала, песок под нею хрустёл.

Что-то ударило о землю сзади меня раз и два, потом близко упал кусок кирпича, — это было страшно, но я тотчас догадался, что швыряют из-за ограды Валёк и его компания — хотят испугать меня. Но от близости людей мне стало лучше.

Невольно думалось о матери... Однажды, застав меня, когда я пробовал курить папиросы, она начала бить меня, а я сказал:

— Не трогай, и без того уж мне плохо, тошнит очень...

Потом, наказанный, я сидел за печью, а она говорила бабушке:

— Бесчувственная мальчишка, никого не любит...

Обидно было слушать это. Когда мать наказывала меня, мне было жалко её, неловко за неё: редко она наказывала справедливо и по заслугам.

И вообще — очень много обидного в жизни, вот хотя бы эти люди за оградой, — ведь они хорошо знают, что мне боёзно одному на кладбище, а хотят напугать ещё больше. Зачем?

Хотелось крикнуть им:

«Подите к чорту!»

Но это было опасно, — кто знает, как отнесётся к этому чорт? Он, наверное, где-нибудь близко.

В песке много кусочков слюды, она тускло блестела в лунном свете, и это напомнило мне, как однажды я, лёжа на плотях на Оке, смотрел в воду, — вдруг, почти к самому лицу моему всплыл подлётчик, повернулся боком и стал похож на человечью щеку, потом взглянул на меня круглым птичьим глазом, нырнул и пошёл в глубину, колеблясь, как падающий лист клёна.

Память работала всё напряжённее, воскрешая различные случаи жизни, точно защищаясь ими против воображения, упрямо создававшего страшное.

Вот катится ёж, стуча по песку твёрдыми лапками: он

гробница — mausoleum, haua-
samma
неловко за неё — (oli) tema
pärgast piinlik
много обидного — palju solva-
vat

слюда — vilgukivi
лёжа на плотях — parvedel
lamades
подлётчик — nurg, rōks (kala)
против воображения — ette-
kujutuse vastu

напоминает домового — такой же маленький, встрепанный.

Вспоминаю, как бабушка, сидя на корточках перед подпечком, приговаривала:

— Ласковый хозяин, выведи тараканов...

Далеко над городом — не видным мне — становилось светлее, утренний холодок сжимал щеки, слипались глаза. Я свернулся калачиком, окутав голову одеялом, — будь что будет!

Разбудила меня бабушка — стоит рядом со мной и, стаскивая одеяло, говорит:

— Вставай! Не озяб ли? Ну, что — страшно?

— Страшно, только ты не говори никому про это, ребятишкам не говори!

— А почто молчать? — удивилась она. — Коли не страшно, так и хвалиться нечем...

Пошли домой, и дорогой она ласково говорила:

— Всё надо самому испытать, голуба душа, всё надо самому знать... Сам не поучишься — никто не научит...

К вечеру я стал «героем» улицы, все спрашивали меня:

— Да неужто не страшно?

И когда я говорил: «Страшно!» — качая головами, восклицали:

— Ага! Вот видишь?

Лавочница же громко и убежденно заявила:

— Стало быть, вдали, что Калинин встанет. Кабы вставал, — разве испугался бы мальчишки? Да он бы его смахнул с кладбища и не видать куда.

Людмила смотрела на меня с ласковым удивлением, даже дед был, видимо, доволен мною, всё ухмылялся. Только Чурка сказал угрюмо:

— Ему — легко, у него бабушка — ведьма.

IV

Я снова в городе, в двухэтажном белом доме, похожем на гроб, общий для множества людей.

встрепанный — sasitud
сидеть на корточках — kiki-
tama
вывести = уничтожить (тара-
канов)

не озяб ли? — kas ei külmeta-
nud (end)?
почто (простонар.) = зачем
ведьма — põiamoor

Хозяина моего я знаю, он бывал в гостях у матери моей вместе с братом своим, который смешно пищал:

— Андрей-папá, Андрей-папá.

Они оба такие же, как были: старший, горбонóсый, с длинными волосами, приятен и, кажется, добрый; младший, Виктор, остался с тем же лошадиным лицом и в таких же веснушках. Их мать — сестра моей бабушки — очень сердита и криклива. Старший — женат, жена у него пы́шная, белая, как пшеничный хлеб, у неё большие глаза, очень тёмные.

Хозяин понравился мне, он красиво встряхивал волосами, заправляя их за уши. Часто, с удовольствием смеялся, серые глаза смотрели добродушно, около ястребиного носа забавно играли смешные морщинки.

— Довольно вам ругаться, звери-курицы! — говорил он жене и матери, обнажая мягкой улыбкой мелкие, плотные зубы.

Свекрòвь и снохá ругались каждый день; меня очень удивляло, как легко и быстро они ссорятся. С утра, обе нечесанные, расстèгнутые, они начинали метаться по комнатам, точно в доме случился пожар; суетились целый день, отдыхая только за столом во время обеда, вечернего чая и ужина. Пили и ели много, до опьянения, до усталости, за обедом говорили о кушаньях и ленивенько переругивались, готовясь к большой ссоре. Что бы ни изготовила свекрòвь, сноха непременно говорила:

— А моя мамаша делает это не так.

— Не так, значит — хуже!

— Нет — лучше!

— Ну, и ступай к своей мамаше.

— Я здесь — хозяйка!

— А я кто?

Вмешивался хозяин:

— Довольно, звери-курицы! Что вы — с умá сошли?

В доме всё было необъяснимо странно и смешно: ход из кухни в столовую лежал через единственный в квартире маленький, узкий клозёт; через него вносили в столовую самовары и кушанье, он был предметом весёлых

горбонóсый — kongus ninaga
веснушки — tedretähed
пы́шный — tore
ястребиный нос — kullinina
плотные зубы — tihedad hambad

свекрòвь и снохá — ämm ja minia
расстèгнутый — lahtinööbitud
ленивенько переругиваться —
kaunis laisalt söimlema

шуток и — часто — источником смешных недоразумений. На моей обязанности лежало наливать воду в бак клозета, а спал я в кухне, против его двери и у двери на парадное крыльцо: голове было жарко от кухонной печи, в ноги дуло с крыльца; ложась спать, я собирал все половики и складывал их на ноги себе.

В большой зале, с двумя зеркалами в простёнках, картинами-премиями «Нивы» в золотом багёте, с парой карточных столов и дюжиной вёнских стульев, было пустынно и скучно. Маленькая гостиная тесно набита пёстрой мягкой мебелью, горками с «приданным», серебром и чайной посудой, её украшали три лампы, одна другой больше. В тёмной, без окон, спальне, кроме широкой кровати, стояли сундуки, шкапы, от них исходил запах листового табакá и персидской ромáшки. Эти три комнаты всегда были пусты, а хозяева теснились в маленькой столовой, мешая друг другу. Тотчас после утреннего чая, в восемь часов, хозяин с братом раздвигали стол, раскладывали на нём листы белой бумаги, готовальни, карандаши, блюдца с тушью и принимались за работу, один на конце стола, другой против него. Стол качался. Он загромождал всю комнату, и когда из детской выходила нянька с хозяйкой, они задевали углы стола.

— Да не шляйтесь вы тут! — кричал Виктор.

Хозяйка обиженно просила мужа:

— Вася, скажи ему, чтобы он на меня не орал!

— А ты не трясй стол, — миролюбиво советовал хозяин.

— Я — берёменная, тут — тесно...

— Ну, мы уйдём работать в залу.

Но хозяйка кричала, негодуя:

— Господи, кто же в зале работает?

Из двери клозета высовывается злое, раскалённое огнём печи лицо старухи Матрёны Ивановны, она кричит:

смешные недоразумения — nal-
jakad arusaamatused
половик — põrandavaip
в простёнках — vaheseintel
багёт — liist raami jaoks
вёнские стулья — viini toolid
приданое — kaasavara
раздвигать стол — lauda lahti
tõmbama

готовальня — sirklikast
загромождать комнату — tuba
täis kuhjama
задевать углы стола — laua
nurki riivama
шляться = ходить без дела
миролюбиво — lepitavalt, rahu-
armastavalt
берёменная — rase

— Вот, Вася, гляди: ты работаешь, а она в четырёх комнатах отелиться не может. Дворянка с Гребешка, умшка ни вершка! . .

Виктор ехидно смеётся, а хозяин кричит:

— Довольно!

Но сноха, облив свекровь ручьями ядовитейшего красноречия, валится на стул и стонет:

— Уйду! Умру!

— Не мешайте мне работать, чорт вас возьми! — орёт хозяин, бледный с натуги. — Сумасшедший дом — ведь для вас же спину ломаю, вам на корм! О, звери-курицы . . .

Работы у меня было много: я исполнял обязанности горничной, по средям мыл пол в кухне, чистил самовар и медную посуду, по субботам — мыл полы всей квартиры и обе лестницы. Колёл и носил дрова для печей, мыл посуду, чистил овощи, ходил с хозяйкой по базару, таская за нею корзину с покупками, бегал в лавочку, в аптеку.

Мое ближайшее начальство — сестра бабушки, шумная, неукротимо гневная старуха, вставала рано, часов в шесть утра; наскоро умывшись, она, в одной рубаше, становилась на колени перед образом и долго жаловалась богу на свою жизнь, на детей, на сноху.

С размаха бьёт себя по лбу, по животу, плечам и шипит:

— А сноху — накажи, господи, меня ради; зачти ей всё, все обиды мои! И открой глаза сыну моему, — на неё открой и на Викторушку! Господи, помоги Викторушке, подай ему милостей твоих . . .

Викторушка спит тут же в кухне, на полатах; разбуженный стонами матери, он кричит сонным голосом:

— Мамаша, опять вы орёте спозаранку! Это просто беда!

— Ну, ну, спи себе, — виновато шепчет старуха. Ми-

отелиться (корова отелилась
= родила теленка) — roegi-
ma
умшка ни вершка — pole mõis-
tust gaasugi
ядовитейшее красноречие —
mürgiseim ilukõne
бледный с натуги — pingutu-
sest kahvatu

сумасшедший дом — hullumaja
горничная — toatüdruk
неукротимо гневная старуха —
talsutamatul vihane vana-
moor
шипеть — sisistama
зачти все обиды — arvesta kõik
teotused
спозаранку = рано утром

нуту, две качается молча и вдруг снова мстительно возглашает: — И чтоб пострелило их в кости, и ни дна бы им ни покрЫшки, гóсподи...

Так страшно даже дедушка мой не молился.

Помолясь она, будила меня:

— Вставай, будет дрЫхнуть, не затем живёшь! .. Ставь самовар, дров неси, — лучины-то не приготовил с вечера? У!

Я стараюсь делать всё быстро, только бы не слышать шипУчего шóпота старухи, но угодить ей — невозможно; она носится по кухне, как зимняя вьюга, и шипит, зазывая:

— Тише, бес! Викторушку разбудишь, я те задам! Беги в лавочку...

По будням к утреннему чаю покупали два фунта пшеничного хлеба и на две копейки грошóвых бУлочек для молодой хозяйки. Когда я приносил хлеб, женщины подозрительно осматривали его и, взвёсивая на ладóни, спрашивали:

— А привёска: не было? Нет? Ну-ка, открой рот! — и торжествующе кричали: — Сожрал привёсок, вон крошки-то в зубах!

... Работал я охотно, — мне нравилось уничтожать грязь в доме, мыть полы, чистить медную посуду, отдУшники, рУчки дверей; я не однажды слышал, как в мирные часы женщины говорили про меня:

— Усёрдный.

— Чистоплóтен.

— Только дёрзок очень.

— Ну, матушка, кто ж его воспитывал!

И обе старались воспитывать во мне почтёние к ним, но я считал их полоумными, не любил, не слушал и разговаривал с ними зуб за зуб. Молодая хозяйка, должно быть, замечала, как плохо действуют на меня некоторые речи, и поэтому всё чаще говорила:

— Ты должен помнить, что взят из нищей семьИ!

мстительно возглашает — kuu-
lutab tasuhimuliselt
дрЫхнуть (вульг.) = спать
(«рõõnutama»)
лучина — pird
угодить ей — ta meelepärast
olla

привёсок — lisakaal
отдУшник — (ahju) lõõriauk
чистоплóтен = любит чистоту
дёрзкий — jultunud, ninakas
почтёние — austus
нищая семья — kerjuste pere

Я твоей матери шёлковую тальму подарила. Со стеклярусом!

Однажды я сказал ей:

— Что же мне за эту тальму шкуру снять с себя для вас?

— Батюшки, да он поджечь может! — испуганно вскричала хозяйка.

Я был крайне удивлён: почему — поджечь?

Они обе то и дело жаловались на меня хозяину, а хозяин говорил мне строго:

— Ты, брат, смотри у меня!

Но однажды он равнодушно сказал жене и матери:

— Тоже и вы хороши! Ездите на мальчишке, как на мёрине, — другой бы давно убежал али издох от такой работы...

Это рассердило женщин до слёз; жена, топая ногою, кричала иступлённо:

— Да разве можно при нём так говорить, дурак ты длинноволосый! Что же я для него, после этих слов? Я женщина беременная.

Мать выла плачливо:

— Бог тебя прости, Василий, только — помяни моё слово — испортишь ты мальчишку!

Когда они ушли, в гневе, — хозяин строго сказал:

— Видишь, чортушка, какой шум из-за тебя? Вот я отправлю тебя к дедушке, и будешь снова тряпичником!

Не стерпев обиды, я сказал:

— Тряпичником-то лучше жить, чем у вас! Приняли в ученики, а чему учите? Помои выносить...

Хозяин взял меня за волосы, без боли, осторожно и, заглядывая в глаза мне, сказал удивлённо:

— Однако ты ёрш! Это, брат, мне не годится, не-ет...

Я думал — меня прогонят, но через день он пришёл в кухню с трубкой толстой бумаги в руках, с карандашом, угольником и линейкой.

— Кончишь чистить ножи — нарисуй вот это!

шёлковая тальма — siidist pelegiin

стеклярус — klaasehted («piiprellid»)

как на мёрине — nagu ruuna seljas

кричала иступлённо — karjus määratsevalt

помои (мн. ч.) — solk

ёрш — kiisk; siin: sänikael, tõrges

трубка бумаги — paberirull, -toru

На листе бумаги был изображён фасад двухэтажного дома со множеством окон и лепных украшений.

— Вот тебе циркуль! Смеряй все линии, нанеси концы их на бумагу точками, потом проведи по линейке карандашом от точки до точки. Сначала вдоль — это будут горизонтальные, потом поперёк — это вертикальные. Валяй!

Я очень обрадовался чистой работе и началу учения, но смотрел на бумагу и инструменты с благоговейным страхом, ничего не понимая.

Когда мне, наконец, удалось сделать копию фасада похожей на оригинал, это ему понравилось.

— Вот видишь, сумел же! Этак, пожалуй, мы с тобой дойдём до дела скоро...

И задал мне урок:

— Сделай план квартиры: как расположены комнаты, где двери, окна, где что стоит. Я указывать ничего не буду — делай сам!

Я пошёл в кухню и задумался — с чего начать?

Но на этой точке и остановилось моё изучение чертёжного искусства.

Подошла ко мне старуха-хозяйка и зловеще спросила:

— Чертить хочешь?

Схватив за волосы, она ткнула меня лицом в стол так, что я разбил себе нос и губы, а она, подпрыгивая, изорвала чертёж, сошвырнула со стола инструменты и, уперев руки в бока, победоносно закричала:

— На, чертёж! Нет, это не сойдётся! Чтобы чужой работал, а брата единого, родную кровь — прочь?

Прибежал хозяин, приплыла его жена, и начался дикий скандал: все трое наскакивали друг на друга, плевались, выли, а кончилось это тем, что, когда бабы разошлись плакать, хозяин сказал мне:

— Ты куда брось всё это, не учись — сам видишь, вон что выходит!

лепные украшения — *voolitud
ilustused*

вдоль и поперёк — *pikuti ja
põiki*

как расположены — *kuidas on
asetatud*

ткнуть — (*nägu vastu lauda
tõukama*)

сошвырнуть со стола — (*mi-
dagi*) *laualt maha loopima*

уперев руки в бока — *toetanud
käed puusa*

победоносно — *võidutsevalt*

Мне было жалко его — такой он измятый, беззащитный и навеки оглушён криками баб.

Я и раньше понимал, что старуха не хочет, чтобы я учился, нарочно мешает мне в этом. Однажды она облила мне все чертежи квасом, другой раз опрокинула на них лампаду масла от икон, — она озорничала, точно девчонка, с детской хитростью и с детским неумением скрыть хитрости. Ни прежде, ни после я не видел человека, который раздражался бы так быстро и легко, как она, и так страстно любил бы жаловаться на всех и на всё. Люди вообще и все любят жаловаться, но она делала это с наслаждением особенным, точно песню пела.

V

Весною я всё-таки убежал: пошёл утром в лавочку за хлебом к чаю, а лавочник, продолжая при мне ссору с женой, ударил её по лбу гирей; она выбежала на улицу и там упала; тотчас собрались люди, женщину посадили в пролётку, повезли её в больницу; я побежал за извозчиком, а потом, незаметно для себя, очутился на набережной Волги, с двугривенным в руке.

Ласково сиял весенний день, Волга разлилась широко, на земле было шумно, просторно, — а я жил до этого дня, точно мышóнок в погребке. И я решил, что не вернусь к хозяевам и не пойду к бабушке в Кунавино, — я не сдержал слова, было стыдно видеть её, а дед стал бы злорадствовать надо мной.

Дня два-три я шлёлся по набережной, питаюсь около добродушных крjúчников, ночуя с ними на пристанях; потом один из них сказал мне:

— Ты, мальчишка, зря трéплешься тут, вижу я! Иди-ка на «Добрый», там посúдника надо...

измятый — muljutud, roidunud
пролётка — troska
набережная — (Volga) perv,
kai, kaldaäär
Волга разлилась — Volga tõu-
sis üle kallaste
злорадствовать — kahjurõõmu
tundma

питаюсь = кормиться
крjúчник — laadija, haagiga
rakikandja
зря трéплешься тут — ilma-
aegu tolgendad siin
посúдник — nõudepesija

Я пошёл; высокий, бородатый буфётчик, в чёрной шёлковой шапочке без козырька, посмотрел на меня сквозь очки мутными глазами и тихо сказал:

— Два рубля в месяц. Паспорт.

Паспорта у меня не было, буфетчик подумал и предложил:

— Мать приведи.

Я бросился к бабушке, она отнеслась к моему поступку одобрительно, уговорила деда сходить в ремёсленную управу за паспортом для меня, а сама пошла со мною на пароход.

— Хорошо, — сказал буфетчик, взглянув на нас. — Идём.

Привёл меня на корму парохода, где за столиком сидел, распивая чай и одновременно куря толстую папиросу, огромный повар в белой куртке, в белом колпаке. Буфетчик толкнул меня к нему.

— Посудник.

И тотчас пошёл прочь, а повар, фыркнув, оцетинил чёрные усы и сказал вслед ему:

— Нанимаете всякого бёса, або дешевле...

Сердито вскинул большую голову в чёрных, коротко остриженных волосах, вытаращил тёмные глаза, напрягся, надулся и закричал зычно:

— Кто ты такой?

Мне очень не понравился этот человек, — весь в белом, он всё-таки казался чумазым, на пальцах у него росла шерсть, из больших ушей торчали волосы.

— Я хочу есть, — сказал я ему.

Он мигнул, и вдруг его свирёпое лицо изменилось от широкой улыбки, толстые, калёные щёки волною отошли к ушам, открыв большие лошадиные зубы, усы мягко опустились — он стал похож на толстую, добрую бабу.

Выплеснув за борт чай из своего стакана, налил све-

козырёк — mütsinokk
ощетинил усы — ajas vurrud
turri
напрягаться — end pingutama
напрягся — siin: kiskus end
kurjalt pingule
надулся — siin: tõmbas end
õnku täis

закричал зычно — rõõgatas
lõvihäälel
казался чумазым — näis räpa-
sena
свирёпое лицо = зверское
калёные щёки — hõõguvad
põsed
выплеснуть чай — teed (üle
parda) viskama

жего, подвинул мне непочатую французскую булку, большой кусок колбасы.

— Лопай! Отец-мать есть? Воровать умеешь? Ну, не бойся, здесь все вóры — научат!

Говорил он, точно лаял. Его огромное, досиня выбритое лицо было покрыто около носа сплошной сетью красных жёлок, пухлый багровый нос опускался на усы, нижняя губа тяжело и брезгливо отвисла, в углу рта приклеилась, дымясь, папироса. Он, видимо, только что пришёл из бани — от него пахло берёзовым веником и перцовкой, на висках и на шее блестел обильный пот.

Когда я напился чаю, он сунул мне рублёвую бумажку.

— Ступай, купи себе два фартука с нагрудниками. Стой, — я сам куплю!

Поправил колпак и пошёл, тяжело покачиваясь, щупая ногами палубу, точно медведь.

... Ночь, ярко светит луна, убегая от парохода влево, в луга. Старенький рыжий пароход, с белой полосой на трубе, не торопясь и неровно шлёпает плечами по серебряной воде, навстречу ему тихонько плывут тёмные берега, положив на воду тени, над ними краснó светятся окна изб, в селе поют, — девки водят хоровод, и припев «ай-люли» звучит, как аллилуйя...

За пароходом на длинном буксире тянется баржа, тоже рыжая; она прикрыта по палубе железной клеткой, в клетке — арестанты, осуждённые на поселение и в каторгу. На носу баржи, как свеча, блестит штык часового; мелкие звёзды в синем небе тоже горят, как свечи. На барже тихо, её богато облил лунный свет, за чёрной сеткой железной решётки смутно видны круглые серые пятна, — это арестанты смотрят на Волгу. Всхлипывает

непочатая булка = цельная
(terve, alustamata)

лопай! (вульг.) — õgi!

сплошная сеть жёлок — tihe
soonekeste võrk

пухлый нос — tursunud nina

губа брезгливо отвисла —
(alumine) huul rippus põg-
likult

берёзовый веник — kaseviht

перцовка (от сл. пёрец — pi-
par) — piparnaps

нагрудник — rinnalapp

плеча — laevaratta laba

хоровод — ringmäng

арестанты, осуждённые на по-
селение и в каторгу — van-
gid, kes on mõistetud asumi-
sele ja sunnitööle

штык часового — tunnimehe
tääk

железная решётка — raudvõre

вода, не то плачет, не то смеётся робко. Всё вокруг какое-то церковное, и маслом пахнет так же крепко, как в церкви.

Смотрю на баржу и вспоминаю раннее детство, путь из Астрахани в Нижний, железное лицо матери и бабушку — человека, который ввёл меня в эту интересную, хотя и трудную жизнь — в люди. А когда я вспоминаю бабушку, всё дурное, обидное уходит от меня, изменяется, всё становится интереснее, приятнее, люди — лучше и милей...

— Азиаты, — брезгливо бухает Смурый, тяжело встаёт и командует мне: — Пешков — марш!

В каюте у себя он суёт мне книжку в кожаном переплёте и ложится на койку, у стены ледника.

— Читай!

Я сажусь на ящик макарон и добросовестно читаю:

— «Умбракул, распещрённый звёздами, значит удобное сообщение с небом, которое имеют они освобождением себя от профанов и пороков»...

Он закрывает глаза и лежит, закинув руки за голову, папироса чуть дымится, прилепившись к углу губ, он поправляет её языком, затягивается так, что в груди у него что-то свистит, и огромное лицо тонет в облаке дыма. Иногда мне кажется, что он уснул, я перестаю читать и разглядываю проклятую книгу — надоела она мне до тошноты.

Но он хрипит.

— Читай!

— «Венерабль отвечает: посмотри, любезный мой фрер Сюверьян»...

— Северьян...

— Напечатано — Сюверьян...

— Ну? Вот чертовщина! Там в конце стихами написано, катай отсюда...

Я катаю:

Профаны, любопытствующие знать наши дела, —
Никогда слабые ваши очи не узрят оных.
Вы и того не узнаете, как поют фреры.

азиаты = жители Азии
кожаный переплёт — nahk-
kõide

добросовестно — ausameelselt
чертовщина — kuradi lugu
катай = валяй

— Стой, — говорит Смурый, — да это же не стихи! Дай книгу...

Он сердито перелистывает толстые, синие страницы и суёт книгу под тюфяк.

— Возьми другую...

На моё горе у него в чёрном сундуке, окóванном железом, много книг — тут: «Омировы наставлénия», «Мемóрии артиллерийские», «Письма лорда Седенгали», «О клопé насекомом зловрédном, а также об уничтожении оногo»; были книги без начала и конца. Иногда повар заставлял меня перебирать эти книги, называть все титулы их, — я читал, а он сердито ворчал:

— Сочиняют, раkáлии... Как по зубам бьют, а за что — нельзя понять. Гервáсий! А на чорта он мне сдался, Гервáсий этот! Умбакул...

Он постоянно внашл мне:

— Ты — читай! Не поймёшь книгу — семь раз прочитай, семь не поймёшь — прочитай двенадцать...

Со всеми на пароходе, не исключая и молчаливого буфетчика, Смурый говорил отрывисто, брезгливо распуская нижнюю губу, ошетинив усы, — точно камнями швырял в людей. Ко мне он относился мягко и внимательно, но в этом внимании было что-то пугáвшее меня немножко; иногда повар казался мне полоумным, как сестра бабушки.

— Читай! — сердито приказывает повар.

Его бояться даже классные официáнты, да и смиренный, скупой на слова буфетчик, похожий на судака, тоже, видимо, боится Смурого.

— Эй, ты, свинья! — кричит он на буфетную прилугу. — Поди сюда, вор! Азиáты... Умбакул...

Я спросил его:

— Зачем вы пугáете всех, ведь вы — добрый?

Против ожидания, он не рассердился.

— Это я только к тебе добрый.

суёт под тюфяк — topib mad-ratsi alla

сундук, окóванный железом — rautatud kirst

наставлénия — õpetused

клоп зловрédный — kurikah-julik lutikas

раkáлия (ругат.) = негодяй, мерзавец (lurjus)

говорил отрывисто — kõneles järsult

брезгливо — põlastavalt

официáнт = келнер

судак — kohakala

Но тотчас же добавил, простодушно и задумчиво:

— А пожалуй, верно, я ко всем добрый. Только не показываю этого, нельзя это показывать людям, а то они замордуют. На доброго всякий лезет, как бы на кочку в болоте... И затопчут. Иди, принеси пива...

Выпив бутылку, стакан за стаканом, он обсосал усы и сказал:

— Будь ты, птица, побольше, то я бы многому тебя научил. Мне есть что сказать человеку, я не дурак... Ты читай книги, в них должно быть всё, что надо. Это не пустяки, книги! Хочешь пива?

— Я не люблю.

— Дóбре. И не пей. Пьянство — это горе. Водка — чёртово дело. Будь я богатый, погнал бы я тебя учиться. Неучёный человек — бык, его хоть в ярмо, хоть на мясо, а он только хвостом мотает...

Капитанша дала ему том Гоголя, я прочитал «Страшную месть», мне это очень понравилось, но Смурый сердито крикнул:

— Ерунда, сказка! Я знаю — есть другие книги...

Отнял у меня книгу, принёс от капитанши другую и угрюмо приказал:

— Читай Тараса... как его? Найди. Она говорит — хорошо... Кому — хорошо? Ей хорошо, а мне, может, и нехорошо? Волосы остригла себе, на! А что ж уши не остригла?

Когда Тарас вызвал Остáпа драться, повар густо засмеялся.

— Это — так! А что ж? Ты — учён, а я — силён! Что печатают! Верблюды...

Он слушал внимательно, но часто ворчал:

— А, ерунда! Нельзя же человека разрубить с плеча до сиденья, нельзя! И на пику нельзя поднять — переломится пика! Я ж сам солдат...

Измена Андрия вызвала у него отвращение.

— Пóдлое чадо, а? Из-за бабы! Тьфу...

Но когда Тарас пристрелил сына, повар, спустив ноги с койки, упёрся в неё руками, согнулся и заплакал, —

простодушно — lihtsameelselt
замордуют — piinavad vaese-
otaks
кочка в болоте — soomätas
затопчут — tallavad ära

бык — härg
ярмо — (härja)ike
ерунда — lori, absurd
отвращение — jälestustunne
чадо (слав.) = дитя

медленно потекли по щекам слёзы, ка́пая на па́лубу; он сопёл и бормотал:

— А, боже мой... боже мой...

И вдруг заорал на меня:

— Да читай же, чо́ртова кость!

Он снова заплакал и — ещё сильнее и го́рше, когда Остап перед смертью крикнул: «Ба́тько! Слышишь ли ты?»

— Всё погибло, — всхлипывал Смурый, — всё, а! Уже — конец? Эх, прокля́тое дело! А были люди, Тарас этот — а? Да-а, это — люди...

Взял у меня из рук книгу и внимательно рассмотрел ее, ока́пав переплёт слеза́ми...

— Хорошая книга! Просто — праздник!

Потом мы читали «Ивангоэ», — Смурому очень понравился Ричард Плантагенет.

— Это настоящий король! — внушительно говорил он. Мне книга показалась скучной.

Вообще, мы не сходились во вкусах, — меня очень увлекала «Повесть о Томасе Ионесе» — старинный перевод «Истории Тома Джонса, найдёныша», а Смурый ворчал:

— Хлупость! Что мне до него, до Томася? На что он мне сдался? Должны быть иные книги...

Однажды я сказал ему, что мне известно — есть другие книги, подпольные, запрещённые; их можно читать только ночью, в подвалах.

Он вытаращил глаза, ошети́нился.

— Ш-шо такое? Шо ты врёшь?

— Я не вру, меня про них поп на исповеди спрашивал, а до того я сам видел, как их читают и плачут...

Повар, угрюмо глядя в лицо мне, спросил:

— Кто плачет?

— Барыня, которая слушала. А другая убежала даже со страху...

— Просни́сь, брёдишь, — сказал Смурый, медленно прикрывая глаза, а помолчав, забормотал:

— Конечно, где-нибудь есть... что-нибудь скры́тое. Не быть его — не может... Не таковы́ мои годы, да и характер мой тож... Ну, а одна́кож...

старинный перево́д — vanaaeg-
ne tõlge

найдёныш — leidlaps

подпольные книги — põranda-
alused raamatud

ты брёдишь — sa sonid

Он мог говорить столь красноречиво целый час . . .

Незаметно для себя я привык читать и брал книгу с удовольствием; то, о чём рассказывали книги, приятно отличалось от жизни, — она становилась всё тяжелее.

Смурый, тоже увлекаясь чтением всё больше, часто отрывал меня от работы.

— Пешков, иди читать.

— У меня немойтой посуды много.

— Максим вымоет.

Он грубо гнал старшего посудника на мою работу, тот со зла бил стаканы, а буфетчик смиренно предупреждал меня:

— Ссажу с парохода.

Однажды Максим нарочно положил в таз с грязной водой и спитым чаем несколько стаканов, а я вблеснул воду за борт, и стаканы полетели туда же.

— Это моя вина! — сказал Смурый буфетчику. — Запишите мне.

Буфетная прислуга стала смотреть на меня исподлбья, мне говорили:

— Эй, ты, книгочей! Ты за что деньги получаешь?

И старались дать мне работы возможно больше, зря пачкая посуду. Я понимал, что всё это плохо кончится для меня, и не ошибся.

В Нижнем буфетчик рассчитал меня: я получил около восьми рублей — первые крупные деньги, заработанные мною.

Смурый, прощаясь со мною, угрюмо говорил:

— Н-ну, вот . . . Теперь гляди в оба — понимаешь? Рот разевать нельзя . . .

Он сунул мне в руку пёстрый бисерный кисёт.

— На-ка, вот тебе! Это хорошее рукодѣлье, это мне крестница вышила . . . Ну, прощай! Читай книги — это самое лучшее!

отличалось от жизни — erines elust

отрывал от работы — kiskus (mind) töö juurest eemale

смотреть исподлбья — altkulmu vaatama

зря пачкая посуду — asjatult põusid mustates

рассчитал меня — vallandas mind

крупные деньги — большая сумма денег

рот разевать — seista, suu ammuli

бисерный кисёт — pärlidega tubakakott

рукодѣлье — käsitöö

Взял меня подмышки, приподнял, поцеловал и крепко поставил на палубу пристани. Мне было жалко и его и себя; я едва не заревел, глядя, как он возвращается на пароход, расталкивая крючников, большой, тяжёлый, одинокий...

Сколько потом встретил я подобных ему добрых, одиноких, отломившихся от жизни людей!..

IX

Когда выпал снег, дед снова отвёл меня к сестре бабушки.

— Это не худо для тебя, не худо, — говорил он мне.

И грустно и смешно вспомнить, сколько тяжёлых унижений, обид и тревог принесла мне быстро вспыхнувшая страсть к чтению! Я стал брать маленькие разноцветные книжки в лавке, где по утрам покупал хлеб к чаю.

Лавочник был очень неприятный парень — толстогубый, потный, с белым дряблым лицом, в золотушных шрамах и пятнах, с белыми глазами и коротенькими, неловкими пальцами на пухлых руках.

Я читал пустые книжонки Мйши Евстигнёева, платя по копейке за прочтение каждой; это было дорого, а книжки не доставляли мне никакого удовольствия. «Гуак или непреоборимая верность», «Французь Венециан», «Битва русских с кабардинцами, или прекрасная магометанка, умирающая на гробе своего супруга» и вся литература этого рода тоже не удовлетворяла меня, часто возбуждая злую досаду: казалось, что книжка издевается надо мною, как над дурачком, рассказывая тяжёлыми словами невероятные вещи.

«Стрельцы», «Юрий Милославский», «Тайственный монах», «Япанча, татарский наездник» и подобные книги нравились мне больше — от них что-то оставалось; но

одинокий — üksik
отломившийся от жизни —
elust lahti murdunud (ini-
mene)
тяжёлые унижения — rasked
alandused

с дряблым лицом — lotendava
näoga
в золотушных шрамах — näärmetiisikuse armidega (näos)
непреоборимая верность — võitmatu truudus
наездник — osav ratsutaja

ещё более меня увлекали жития святых — здесь было что-то серьёзное, чему верилось и что порою глубоко волновало.

Читал я в сарае, уходя колоть дрова, или на чердаке, что было одинаково неудобно, холодно. Иногда, если книга интересовала меня или надо было прочесть её скорее, я вставал ночью и зажигал свечу, но старая хозяйка, заметив, что свечи по ночам умяются, стала измерять их лучинкой и куда-то прятала мерки. Если утром в свече недоставало вершка или если я, найдя лучинку, не обламывал её на сгоревший кусок свечи, в кухне начинался яростный крик, и однажды Викторюшка возмущенно провозгласил с полатей:

— Да перестаньте же лаяться, мамаша! Жить нельзя! Конечно, он жгёт свечи, потому что книжки читает, у лавочника берёт, я знаю! Поглядите-ка у него на чердаке...

Старуха сбегала на чердак, нашла какую-то книжку и разодрала её в клочья.

Это, разумеется, огорчило меня, но желание читать ещё более окрепло.

Я всячески исхитрился читать, старуха несколько раз уничтожала книги, и вдруг я оказался в долгу у лавочника на огромную сумму в сорок семь копеек! Он требовал денег и грозил, что станет отбирать у меня за долг хозяйские, когда я приду в лавку за покупками.

— Что тогда будет? — спрашивал он меня, издеваясь.

Был он нестерпимо противен мне и, видимо, чувствуя это, мучил меня разными угрозами, с наслаждением особенным: когда я входил в лавку, его пятнистое лицо расплывалось, и он спрашивал ласково:

— Долг принёс?

— Нет.

Это его пугало, он хмурился.

— Как же? Что же мне — к мировому подавать на тебя, а? Чтобы тебя описали да — в колонию?

Мне негде было взять денег — жалованье моё платили

колоть дрова — puid lõhkuma
свечи умяются = становятся
меньше, короче
мерка — mõõt
разодрала в клочья — rebis
tükkideks

огорчить — kurvastama
я оказался в долгу — selgus,
et võlgnen
издеваться — irvitama
мировому подавать — rahu-
kohtunikule kaebama

деду, я терялся, не зная — как быть? А лавочник, в ответ на мою просьбу подождать с уплатою долга, протянул ко мне масляную, пухлую, как оладья, руку и сказал:

— Поцелуй — подожду!

Но когда я схватил с прилавка гирю и замахнулся на него, он, приседая, крикнул:

— Что, что ты, что ты — я шучу!

Понимая, что он не шутит, я решил украсть деньги, чтобы разделаться с ним. По утрам, когда я чистил платье хозяина, в карманах его брюк звенели монеты, иногда они выскакивали из кармана и катились по полу, однажды какая-то провалилась в щель под лестницу, в дровяник; я позабыл сказать об этом и вспомнил лишь через несколько дней, найдя двугривенный в дровах. Когда я отдал его хозяину, жена сказала ему:

— Вот видишь? Надо считать деньги, когда оставляешь в карманах.

Но хозяин сказал, улыбаясь мне:

— Он не украдет, я знаю!

Теперь, решив украсть, я вспомнил эти слова, его доверчивую улыбку и почувствовал, как мне трудно будет украсть. Несколько раз я вынимал из кармана серебро, считал его и не мог решиться взять. Дня три я мучился с этим, и вдруг всё разрешилось очень быстро и просто; хозяин неожиданно спросил меня:

— Ты что, Пешков, скучный стал, нездоровится, что-ли?

Я откровенно рассказал ему все мои печали; он нахмурился.

— Вот видишь, к чему они ведут, книжки-то! От них — так или эдак — непременно беда...

Дал полтинник и посоветовал строго:

— Смотри же, не проболтайся жене али матери — шум будет!

Потом, добродушно усмехаясь, сказал:

— Настойчив ты, чорт тебя возьми! Ничего, это хорошо. Однако — книжки брось! С нового года я выпишу хорошую газету, вот тогда и читай...

я терялся — ma jain poutuks
как оладья — pagu lusikakook
приседать — kikitama
разделаться с ним — temaga
arved õiendama

провалилась в щель — kukkus
prao vaehe
дровяник = сарай для дров
его доверчивая улыбка — ta
usaldav naeratus

И вот, вечерами, от чая до ужина, я читаю хозяевам вслух «Московский листок» — романы Вашкова, Рокшанина, Рудниковского и прочую литературу для пищеварения людей, насмерть убиенных скукой.

Мне не нравится читать вслух, это мешает мне понимать читаемое; но мои хозяева слушают внимательно, с некоторою как бы благоговейною жадностью, ахают, изумляясь злодейству героев, и с гордостью говорят друг другу:

— А мы-то живём — тихо, смирно, ничего не знаем, слава те, господи!

Они путают события, приписывают поступки знаменитого разбойника Чуркина ямщику Фоме Кручине, путают имена; я поправляю ошибки слушателей — это очень изумляет их.

— Ну, и память же у него!

Нередко в «Московском листке» встречаются стихи Леонида Граве, мне они очень нравятся, списываю некоторые из них в тетрадку, но хозяева говорят о поэте:

— Старик ведь, а стихи сочиняет.

— Пьяница, полоумный, ему всё равно.

Нравятся мне стихи Стружкина, графа Мemento-Мори, а женщины, и старая и молодая, утверждают, что стихи — балаганство.

— Это только петрушки да актёры стихами говорят.

Фельетонов «Московского листка» не хватало на вечер, я предложил читать журналы, лежавшие в спальне под кроватью, молодая хозяйка недоверчиво сказала:

— Чего же там читать? Там только картинки...

Но под кроватью, кроме «Живописного обозрения», оказался еще «Огонёк», и вот мы читаем Салиаса «Граф Тятин-Балтийский». Хозяину очень нравится придурковатый герой повести, он безжалостно и до слёз хохочет над печальными приключениями барчука и кричит:

для пищеварения — seedimise edendamiseks

благоговейная жадность — hardunud ahnus

злодеяния героев — (jutu)-kangelaste kuriteod

приписывают поступки разбой-

ника — omistavad kuulsa rõõvli Tš. teod (kutsarile)

путают имена — ajavad nimed segi

петрушки да актёры — teatrinukud ja näitlejad

придурковатый — lollakas

приключения барчука — pooghärä seiklused

— Нет, это забавная штука!

— Враньё, поди-ка, — говорит хозяйка, ради оказанья самостоятельности своего ума.

Литература из-под кровати сослужила мне великую службу: я завоевал себе право брать журналы в кухню и получил возможность читать ночами.

На моё счастье, старуха перешла спать в детскую, — запоем запила нянька. Викторушка не мешал мне. Когда все в доме засыпали, он тихонько одевался и до утра исчезал куда-то. Огня мне не давали, унося свечку в комнаты, денег на покупку свеч у меня не было; тогда я стал тихонько собирать сало с подсвечников, складывал его в жестянку из-под сардин, подливал туда лампадного масла и, скрутив светильню из ниток, зажигал по ночам на печи дымный огонь.

Когда я перевёртывал страницу огромного тома, красный язычок светильни трепетно колебался, грозя погаснуть, светильня ежеминутно тонула в растопленной пахучей жидкости, дым ел глаза, но все эти неудобства исчезали в наслаждении, с которым я рассматривал иллюстрации и читал объяснения к ним.

Эти иллюстрации раздвигали предо мною землю всё шире и шире, украшая её сказочными городами, показывая мне высокие горы, красивые берега морей. Жизнь чудесно разрасталась, земля становилась заманчивее, богаче людьми, обильнее городами и всячески разнообразнее.

Объяснения к иллюстрациям понятно рассказывали про иные страны, иных людей, говорили о разных событиях в прошлом и настоящем; я многого не могу понять, и это меня мучит. Иногда в мозг вонзаются какие-то странные слова — «метафизика», «хилиазм», «чартист», — они нестерпимо беспокоят меня, растут чудовищно, всё

забавная штука — *lõbus lugu*
запой — *joomahaigus*; она запоем запила — *ta kukkus hirmsasti jooma*
сало с подсвечников — (*kogusin*) *rasva küünlajalgadest*
жестянка — *plekk-karp*
скрутил светильню из ниток — *keerutasin lõngadest tahi*

растопленная пахучая жидкость — *sulanud haisev vedelik*
неудобство — *ebamugavus*
чудесно разрасталась — *kasvas imepäraselt*
заманчивый — *veetlev*
чудовищно — *koletislikult*

заслоняют, и мне кажется, что я никогда не пойму ничего, если мне не удастся открыть смысл этих слов, — именно они стоят сторожами на пороге всех тайн. Часто целые фразы долго живут в памяти, как занóза в пальце, мешая мне думать о другом.

Помню, я прочитал странные стихи:

В сталь закован, по безлюдью,
Нем и мрачен, как могила,
Едет гуннов царь, Аттила,

за ним чёрною тучею идут воины и кричат:

Где же Рим, где Рим могучий?

Рим — город, это я уже знал, но кто такие — гунны? Это необходимо знать.

Выбрав хорошую минуту, я спрашиваю хозяина.

— Гунны? — удивлённо повторяет он. — Чорт знает, что это такое! Ерундá, наверное...

И неодобрительно качает головою.

— Чепухá кипит в голове у тебя, это плохо, Пешкóв!

Плохо ли, хорошо ли, но я хочу знать.

Тогда я решил, что о гуннах нужно спросить в аптеке у провизора; он смотрит на меня всегда ласково, у него умное лицо, золотые очки на большом носу.

— Гунны, — сказал мне провизор Павел Гольдберг, — были кочевым народом, вроде киргизов. Народа этого больше нет, весь вымер.

Мне стало грустно и досадно — не потому, что гунны вымерли, а оттого, что смысл слова, которое меня так долго мучило, оказался столь простым и ничего не дал мне.

Но я очень благодарен гуннам, — после столкновения с ними слова стали меня меньше беспокоить, и, благодаря Аттиле, я познакомился с провизором Гольдбергом.

Этот человек знал простой смысл всех мудрых слов, у него были ключи ко всем тайнам. Поправив очки двумя пальцами, он пристально смотрел сквозь толстые стёкла в глаза мне и говорил, словно мелкие гвозди вбивая в мой лоб:

заслоняют всё — varjavad kōik
как занóза в пальце — pagu
pind sōrmes
безлюдье — siin: asustamata
maa

чепухá — jama, tūhi loba
кочевый народ — rāndrahvas
весь вымер — kōik on vālja
surnud

— Слова, дружище, это — как листья на дереве, и, чтобы понять, почему лист таков, а не иной, нужно знать, как растёт дерево, — нужно учиться! Книга, дружище, — как хороший сад, где всё есть: и приятное и полезное...

Я часто бегал к нему в аптеку за содой и магнезией для взрослых, которые постоянно страдали «изжогой», за бобковой мазью и слабительными для младенцев. Краткие поучения провизора внушали мне всё более серьёзное отношение к книгам, и незаметно они стали необходимыми для меня, как пьянице водка.

Они показывали мне иную жизнь — жизнь больших чувств и желаний, которые приводили людей к подвигам и преступлениям. Я видел, что люди, окружавшие меня, не способны на подвиги и преступления, они живут где-то в стороне от всего, о чём пишут книги, и трудно понять — что интересного в их жизни? Я не хочу жить такой жизнью... Это мне ясно, — не хочу...

Из пояснений к рисункам я знал, что в Праге, Лондоне, Париже нет среди города оврагов и грязных дамб из мусора, там прямые, широкие улицы, иные дома и церкви. Там нет шестимесячной зимы, которая запирает людей в домах, нет великого поста, когда можно есть только квашеную капусту, солёные грибы, толокно и картофель, с противным льняным маслом. Великим постом — нельзя читать книг, — у меня отобрали «Живописное обозрение», и эта пустая, постная жизнь снова подошла вплоть ко мне. Теперь, когда я мог сравнить её с тем, что знал из книг, она казалась мне ещё более нищей и безобразной. Читая, я чувствовал себя здоровее, сильнее, работал споро и ловко, у меня была цель: чем скорее кончу, тем больше останется времени для чтения. Лишённый книг, я стал вялым, ленивым, меня начала одолевать незнакомая мне раньше болёзненная забывчивость.

изжога — kõrvetis
слабительное — (kõhu)lahtisti
к подвигам и преступлениям —
vägitegudele ning roimadele
дамба из мусора — prügitamm,
muldtee
квашеная капуста — hapukar-
sas
толокно = толчёная мука

с противным льняным маслом
— vastiku linaseemneõliga
я работал споро — ma töota-
sin tõhusalt
лишённый — ilma jäetud
вялый — loid
забывчивость = рассеянность
(mäluõrkus)

В одно из воскресений, когда хозяева ушли к ранней обедне, а я, поставив самовар, отправился убирать комнаты, — старший ребёнок, забравшись в кухню, вытащил кран из самовара и уселся под стол играть краном. Углей в трубе самовара было много, и, когда вода вытекла из него, он распаялся. Я ещё в комнатах услышал, что самовар гудит неестественно гневно, а войдя в кухню, с ужасом увидел, что он весь посинел и трясётся, точно хочет подпрыгнуть с пола. Отпаявшаяся втулка крана уныло опустилась, крышка съехала набекрень, из-под ручек стекали капли олова, — лиловато-синий самовар казался вдребезги пьяным. Я облил его водою, он зашипел и печально развалился на полу.

Позвонили на парадном крыльце, я отпер двери и на вопрос старухи — готов ли самовар, кратко ответил:

— Готов.

Это слово, сказанное, вероятно, в смущении и страхе, было принято за насмешку и усугубило наказание. Меня избили. Старуха действовала пучком сосновой лучины, это было не очень больно, но оставило под кожей спины множество глубоких заноз; к вечеру спина у меня вспухла подушкой, а в полдень на другой день хозяин принуждён был отвезти меня в больницу.

Когда доктор, длинный и тощий до смешного, осмотрел меня, он сказал спокойно глухим басом:

— Здесь нужно составить протокол об истязании.

Хозяин покраснел, зашаркал ногами и стал что-то тихо говорить доктору, а тот, глядя через голову его, кратко отвечал:

— Не могу. Нельзя.

Но потом спросил меня:

— Жаловаться хочешь?

Мне было больно, но я сказал:

— Не хочу, лечите скорее...

Меня отвели в другую комнату, положили на стол,

(самовар) распаялся — sulas
jootest lahti

отпаявшаяся втулка — lahtisula-
nud kraanipunn

набекрень = здесь: на бок

вдребезги пьяный — purujoob-
nud

в смущении — segaduses

усугубило = увеличило (наказа-
ние)

истязание — piinamine

доктор вытаскивал занозы приятно холодными щипчиками и балагурил:

— Превосходно отделили кожу тебе, приятель, теперь ты станешь непромокаемый...

Когда он кончил работу, нестерпимо щекоτάвшую меня, он сказал:

— Сорок две щёпочки вытащено, приятель, запомни, хвастаться будешь! Завтра в этот час приходи на перевязку. Часто бьют?

Я подумал и ответил:

— Раньше — чаще били...

Доктор захохотал басом.

— Всё к лучшему идёт, приятель, всё!

Когда он вывел меня к хозяину, то сказал ему:

— Извольте получить, починён! Завтра пришлите, перевяжем. На ваше счастье — комик он у вас...

Сидя на извозчике, хозяин говорил мне:

— И меня, Пешков, тоже били — что поделаешь? Били, брат! Тебя всё-таки хоть я жалею, а меня и жалеть некому было, некому! Людей везде — теснота, а пожалеть — нет ни одного сукина сына! Эх, звери-курицы...

Он всю дорогу ругался, мне было жалко его, и я был очень благодарен ему, что он говорит со мною по-человечески.

Дома меня встретили, как именинника, женщины заставили подробно рассказать, как доктор лечил меня, что он говорил, — слушали и ахали, сладостно причмокивая, морщась. Удивлял меня этот их напряжённый интерес к болезням, к боли и ко всему неприятному!

Я видел, как они довольны мною, что я отказался жаловаться на них, и воспользовался этим, испросив у них разрешение брать книги у закройщицы. Они не решились отказать мне, только старуха удивлённо воскликнула:

— Ну и бес!

балагурить = шутить
отделить (кожу) — *töötlemä*,
parkima (*nahka*)
непромокаемый = не про-
пускающий воды
починён — *parandatud*
людей — теснота — *inimesi* on
paksult

сукин сын (*ругат.*) — *litapoe*,
lurjus
именинник — *nimepäevalaps*
напряжённый интерес — *pingu-*
tatud huvi
отказался — *(ma) keeldusin*
закройщица — *(juurdelõikaja*
(naine)

Через день я стоял перед закройщицей, а она ласково говорила:

— А мне сказали, что ты болен, отвезён в больницу, — видишь, как неверно говорят?

Я промолчал. Стыдно было сказать правду — зачем ей знать грубое и печальное? Так хорошо, что она не похожа на других людей.

Снова я читаю толстые книги Дюма-отца, Понсон-де-Террайля, Монтепэна, Законнэ, Габарио, Эмара, Буагобэ, — я глотаю эти книги быстро, одну за другой, и мне — весело. Я чувствую себя участником жизни необыкновенной, она сладко волнует, возбуждая бодрость. Снова коптит мой самодельный светильник, я читаю ночи напролёт, до утра, у меня понемногу заболевают глаза, и старая хозяйка любезно говорит мне:

— Погоди, книгожора, лопнут зёнки-то, ослепнешь!

Однако я очень скоро понял, что во всех этих интересно запутанных книгах, несмотря на разнообразие событий, на различие стран и городов, речь всё идёт об одном: хорошие люди — несчастливы и гонимы дурными, дурные — всегда более удачливы и умны, чем хорошие, но в конце концов что-то неуловимое побеждает дурных людей и обязательно торжествуют хорошие. Надоела «любовь», о которой все мужчины и женщины говорили одними и теми же словами. Это однообразие становилось не только скучным, но и возбуждало смутные подозрения.

Бывало, уже с первых страниц начинаешь догадываться, кто победит, кто будет побеждён, и как только станет ясен узел событий, стараешься развязать его силою своей фантазии. Перестав читать книгу, думаешь о ней, как о задаче из учебника арифметики, и всё чаще

волнует — erutab
возбуждая бодрость — ärata-
des erksust
книгожора — gaamatuõgija
зёнки (лопнут) (вульг.) =
глаза
разнообразие событий — sünd-
muste mitmekesisus
гонимы дурными — halbade
poolt tagakiusatud

более удачливы — edukamad
что-то неуловимое — miski ta-
bamatu
смутные подозрения — segased
kahtlused
станет ясен узел событий —
selgub sündmuste sõlmik
развязать — lahendada, lahti
harutada

удаётся правильно решить, кто из героев придёт в рай всяческого благополучия, кто будет ввёргнуть во узилище.

Но за всем этим я вижу проблески живой и значительной для меня правды, черты иной жизни, иных отношений. Мне ясно, что в Париже извозчики, рабочие, солдаты и весь «чёрный народ» не таков, как в Нижнем, в Казани, в Перми, — он смелее говорит с господами, держится с ними более просто и независимо. Книжный злодей жесток деловито, почти всегда можно понять, почему он жесток, а я вижу жестокость бесцельную, бессмысленную, ею человек только забавляется, не ожидая от неё выгод.

И вдруг мне попал в руки роман Гонкура «Братья Земганно», я прочитал его сразу, в одну ночь, и, удивлённый чем-то, чего до этой поры не испытывал, снова начал читать простую, печальную историю. В ней не было ничего запутанного, ничего внешне интересного, с первых страниц она казалась серьёзной и сухой, как жития святых. Её язык, такой точный и лишённый прикрас, сначала неприятно удивил меня, но дорогие слова, крепко построенные фразы так хорошо ложились на сердце, так внушительно рассказывали о драме братьев-акробатов, что у меня руки дрожали от наслаждения читать эту книгу. Я плакал навзрыд, читая, как несчастный артист со сломанными ногами ползёт на чердак, где его брат тайно занимается любимым искусством.

Отдавая эту славную книгу закройщице, я просил её дать мне ещё такую же.

— Как это такую же? — спросила она, усмехаясь.

Эта усмешка смутила меня, и я не сумел объяснить, чего мне хочется, а она говорила:

— Это — скучная книга, вот, подожди, я тебе принесу другую, интереснее...

Через несколько дней она дала мне Гринвуда «Подлин-

рай благополучия — hüvangu
paradiis

узилище (арх.) = тюрьма

проблески правды — tõe välgatused

значительный — tähendusrikas

испытывать = здесь: чувствовать, переживать (kogema)
лишённый прикрас — ilma ilusteta

дорогие слова — kitsid sõnad
плакать навзрыд = громко плакать

ную историю маленького оборвыша», заголовок книги несколько уколол меня, но первая же страница вызвала в душе улыбку восторга, — так с этою улыбкою я и читал всю книгу до конца, перечитывая иные страницы по два, по три раза.

Так вот как трудно и мучительно даже за границею живут иногда мальчики! Ну, мне вовсе не так плохо, значит — можно не унывать!

Много бодрости подарил мне Гринвуд, а вскоре после него мне попалась уже настоящая «правильная» книга — «Евгения Гранде».

Старик Гранде ярко напоминал мне деда, было обидно, что книжка так мала, и удивляло, как много в ней правды. Эту правду, очень знакомую мне и надоёвшую в жизни, книга показывала в освещении совершенно новом — незлобивом, спокойном. Все ранее прочитанные мною книги, кроме Гонкура, судили людей так же строго и крикливо, как мои хозяева, очень часто они вызывали симпатию к преступнику и чувство досады на добродетельных людей.

У Гонкура, Гринвуда, Бальзака — не было злодеев, не было добряков, были просто люди, чудесно живые; они не позволяли сомневаться, что всё сказанное и сделанное ими было сказано и сделано именно так и не могло быть сделано иначе.

Таким образом я понял, какой великий праздник «хорошая, правильная» книга. Но как найти её? Закройщица не могла помочь мне в этом.

— Вот хорошая книга, — говорила она, предлагая мне Арсена Гуссэ «Руки, полные роз, золота и крови», романы Бэло, Поль де-Кока, Феваля, но я читал их уже с напряжением.

Ей нравились романы Марриета, Вернера, — мне они казались скучными. Не радовал и Шпильгаген, но очень понравились рассказы Ауэрбаха. Сю и Гюго тоже не очень увлекали меня, я предпочитал им Вальтер Скотта.

маленький оборвыш — väike
kaltsak

заголовок книги уколол меня —
pealkiri torkas mind

за границею — välismaal

унывать — norutama, kurvas-
tama

в незлобивом освещении — lee-
bes, mahedas valgustuses

добродетельные люди — voo-
ruslikud inimesed

сомневаться — kahtlema

с напряжением — pingutusega,
sunnitult

Мне хотелось книг, которые волновали бы и радовали, как чудесный Бальзак. Фарфоровая женщина тоже всё меньше нравилась мне.

Х

Ещё до отъезда закройщицы под квартирую моих хозяев поселилась черноглазая молодая дама с девочкой и матерью, седенькой старушкой, непрерывно курившей папиросы из янтарного мунштука. Дама была очень красивая; властная, гордая, она говорила густым, приятным голосом, смотрела на всех вскинув голову, чуть-чуть прищурив глаза, как будто люди очень далеко от неё и она плохо видит их. Почти каждый день к крыльцу её квартиры чёрный солдат Тюфяев подводил тонконового рыжего коня, дама выходила на крыльцо в длинном, стального цвета, бархатном платье, в белых перчатках с растрёбами, в жёлтых сапогах. Держа в одной руке шлейф и хлыст с лиловым камнем в рукоятке, она гладила маленькой рукой ласково оскáленную морду коня, — он косился на неё огненным глазом, весь дрожал и тихонько бил копытом по утоптанной земле.

— Робэр, Ро-обэр, — негромко говорила она и крепко хлопала коня по красиво выгнутой шее.

Потом, поставив ногу на колено Тюфяева, дама ловко прыгала на седло, и конь, гордо танцуя, шёл по дамбе; она сидела на седле так ловко, точно приросла к нему.

Красива она была той редкой красотой, которая всегда кажется новой, невиданною и всегда наполняет сердце опьяняющей радостью. Глядя на неё, я думал, что вот таковы были Диана Пуатье, королева Марго, девица Лавальер и другие красавицы, героини исторических романов.

Её постоянно окружали офицеры дивизии, стоявшей

фарфоровая женщина — portselannaine	шлейф и хлыст — slepp ja piits
янтарный мунштук — merivaigust (paberossi)pits	оскáленная морда — irvitud suu
властная — võimukas	утоптанная земля — tallatud maa
перчатки с растрёбами — trehtrikujuliselt laieneva randmeosaga kindad	точно приросла — nagu oleks (sadula) külge kasvanud

в городе, по вечерам у неё играли на пианино и скрипке, на гитарах, танцевали и пели.

Так же счастливо красива, как мать, была и пятилетняя девочка, кудрявая, полненькая. Её огромные синеватые глаза смотрели серьёзно, спокойно ожидающим взглядом, и было в этой девочке что-то недётски вдумчивое.

Бабушка с утра до вечера занята хозяйством вместе с Тюфяевым, угрюмо немым, и толстой, косоглазой горничной; няньки у ребёнка не было, девочка жила почти беспризорно, целыми днями играя на крыльце или на куче брёвен против него. Я часто по вечерам выходил играть с нею и очень полюбил девочку, а она быстро привыкла ко мне и засыпала на руках у меня, когда я рассказывал ей сказку. Заснёт, а я её отнесу в постель. Скоро дошло до того, что, ложась спать, она непременно требовала, чтобы я пришёл проститься с нею. Я приходил, она важно протягивала мне пухлую ручку и говорила:

— Прощай до завтра!

Она была умненькая, но не очень весёлая, — часто во время оживлённой игры вдруг задумается и спросит неожиданно:

— Зачем у священников волосы как у женщин?

Обожглась крапивой, и, грозя её пальцем, сказала:

— Смотри, я помоюсь богу, так он сдѣает тебе очень плохо. Бог всем может сдѣать плохо — он даже маму может наказать...

Однажды вечером, когда я сидел на крыльце, ожидая хозяев, ушедших гулять на Откос, а девочка дремала на руках у меня, подъехала верхом её мать, легко спрыгнула на землю и, вскинув голову, спросила:

— Что это она — спит?

— Да.

— Вот как...

Выскочил солдат Тюфяев, принял коня, дама сунула хлыст за кушак и сказала, протянув руки:

— Дай мне её!

— Я сам отнесу!

косоглазая горничная — kōõrd-
silmaline toatüdruk

почти беспризорно — peaaegu
järelevalveta
крапива — nõges

— Но! — крикнула дама на меня, как на лошадь, и топнула ногою о ступень крыльцá.

Девочка проснулась, мигая, посмотрела на мать и тоже протянула к ней руки. Они ушли.

Я привык, чтобы на меня кричали, но было неприятно, что эта дама тоже кричит, — всякий послушает её, если она даже и тихо прикажет.

Через несколько минут меня позвала косоглазая горничная, — девочка капризничает, не хочет идти спать, не простясь со мною.

Я, не без гордости перед матерью, вошёл в гостиную, — девочка сидела на колёнях матери, дама ловкими руками раздевала её.

— Ну, вот, — сказала она, — вот он пришёл, это чудовище!

— Это не чудовище, а мой майчик...

— Вот как? Очень хорошо. Давай же подарим что-нибудь твоему мальчику. Хочешь?

— Да, хочу!

— Прекрасно, я это сделаю, а ты иди спать.

— Прощай до завтра, — сказала девочка, протянув мне руку. — Храни тебя господь до завтра...

Когда она ушла, дама поманила меня пальцем.

— Что же тебе подарить?

Я сказал, что мне ничего не надо дарить, а не даст ли она мне какую-нибудь книжку?

Она приподняла мой подбородок горячими, душистыми пальцами, спрашивая с приятной улыбкой:

— Вот как, ты любишь читать, да? Какие же книги ты читал?

Улыбаясь, она стала ещё красивее; я смущённо назвал ей несколько романов.

— Что же в них нравится тебе? — спрашивала она, положив руки на стол и тихонько шевеля пальцами.

От неё исходил сладкий, крепкий запах каких-то цветов, с ним странно сливался запах лошадиного пота. Она смотрела на меня сквозь длинные ресницы задумчиво-серьёзно, — до этой минуты никто ещё не смотрел на меня так.

Я объяснил ей, как умел, что жить очень трудно и скучно, а читая книги, забываешь об этом.

— Да-а, вот как? — сказала она, вставая. — Это — недурно, это, пожалуй, верно...

Она ушла за портьеру, где была её спальня, и вынесла оттуда маленький томик в переплёте синего сафьяна.

— Это тебе понравится, только не па́чкой!

Это были поэмы Пушкина. Я прочитал их все сразу, охваченный тем жадным чувством, которое испытываешь, попадая в невиданное красивое место, — всегда стремишься обежать его сразу. Так бывает после того, когда долго ходишь по моховым кочкам болотистого леса, и неожиданно развернётся пред тобою сухая поляна, вся в цветах и солнце. Минуту смотришь на неё очарованный, а потом счастливо обежишь всю, и каждое прикосновение ноги к мягким травам плодородной земли тихо радует.

Пушкин до того удивил меня простотой и музыкой стиха, что долгое время проза казалась мне неестественной и читать её было неловко. Пролог к «Руслану» напоминал мне лучшие сказки бабушки, чудесно сжав их в одну, а некоторые строки изумляли меня своей чеканной правдой.

Там, на неведомых дорожках,
Следы невиданных зверей...

— мысленно повторял я чудесные строки и видел эти, очень знакомые мне, едва заметные тропы, видел таинственные следы, которыми примята трава, ещё не стряхнувшая капель росы, тяжёлых, как ртуть. Полнозвучные строки стихов запоминались удивительно легко, украшая празднично всё, о чём говорили они; это делало меня счастливым, жизнь мою — лёгкой и приятной, стихи звучали, как благовест новой жизни. Какое это счастье — быть грамотным!

Великолепные сказки Пушкина были всего ближе и понятнее мне; прочитав их несколько раз, я уже знал их

синий сафьян — sinine maго-
kääp (kitsenahk)
развернётся = здесь: откры-
вается
очарованный — völutud

неведомый = неизвестный
тропа — rada
стряхнуть капли росы — kaste-
tilku maha gaputama
ртуть (ж.) — elavhöbe

на память; лягу спать и шепчú стихи, закрыв глаза, пока не уснú. Нередко я пересказывал эти сказки денщикáм; они, слушая, хохóчут, лáсково ругаются, Сидоров гладит меня по голове и тихóнько говорит:

— Вот славно, а? Ах, господи...

Возбуждéние, охватившее меня, было замечено хозяевами, старуха ругалась:

— Зачитался, пострёл, а самовар четвёртый день не чищен! Как возьму скáлку...

Что — скáлка? Я оборонялся против неё стихами:

Душою чёрной зло любя,
Колдúнья старая...

Дама ещё выше выросла в моих глазах, — вот какие книги читает она! Это — не фарфóровая закройщица...

Когда я принёс ей книгу и с грустью отдал, она уверенно сказала:

— Это тебе понравилось! Ты слышал о Пушкине?

Я что-то уже читал о поэте в одном из журналов, но мне хотелось, чтобы она сама рассказала о нём, и я сказал, что не слышал.

Кратко рассказав мне о жизни и смерти Пушкина, она спросила, улыбаясь, точно весенний день:

— Видишь, как опáсно любить женщин?

По всем книжкам, прочитанным мною, я знал, что это действительно — опасно, но и — хорошо. Я сказал:

— Опасно, а все любят! И женщины тоже ведь мучаются от этого...

Она взглянула на меня, как смотрела на всё, сквозь ресни́цы, и сказала серьёзно:

— Вот как? Ты это понимаешь? Тогда я желаю тебе — не забывай об этом!

И начала спрашивать, какие стихи понравились мне.

Я стал что-то говорить ей, размахивая руками, читая на память. Она слушала меня молча и серьёзно, потом встала и прошлáсь по комнате, задумчиво говоря:

— Тебе, милейший зверь, нужно бы учиться! Я подумую об этом... Твои хозяева — рóдственники тебе?

И, когда я ответил утвердительно, она воскликнула:

на пáмять = наизусть
скáлка — vaalikaigas
обороня́ться = защищаться

колдúнья = ведьма
рóдственник — sugulane
утвердительно — jaatavalt

— О! — как будто осуждая меня.

Она дала мне «Песни Беранже», превосходное издание, с гравюрами, в золотом обрэзе и красном кожаном переплётё. Эти песни окончательно свели меня с ума странно тесною связью ёдкого гора с буйным весёлём.

С холодом в груди я читал горькие слова «Старого нищего»:

Червь зловрёдный — я вас беспокою?
Раздавите гадину ногою!
Что жалеть? Приплюсните скорей!
Отчего меня вы не учили.
Не дали исхода дикой силе?
Вышел бы из червя — муравей!
Я бы умер, братьев обнимая,
А бродягой старым умирая, —
Призываю мщенье на людей!

А вслед за этим я до слёз хохотал, читая «Плачущего мужа». И особенно запомнились мне слова Беранже:

Жизни весёлой наука —
Не тяжела для простых!..

Беранже возбудил у меня неукротимое веселье, желание озорничать, говорить всем людям дерзкие, острые слова, и я, в краткий срок, очень преуспёл в этом. Его стихи я тоже заучил на память и с великим увлечением читал денщикам, забегая в кухни к ним на несколько минут.

Гулять на улице меня не пускали, да и некогда было гулять, — работа всё росла; теперь, кроме обычного труда за горничную, дворника и «мальчика на посылках», я должен был ежедневно набивать гвоздями на широкие доски коленкор, наклеивать на него чертежи, переписывать сметы строительных работ хозяина, проверять счёт подрядчиков, — хозяин работал с утра до ночи, как машина.

в золотом обрэзе — kullatud
äärtega
ёдкое горе — näriv mure
буйное веселье — tormitsev
rõõm
гадина — jõletis, söödik
приплюснуть — lõmastama
неукротимое веселье — taltsu-
tamatu rõõm

очень преуспёл — jõudsin (sel-
les) väga kaugele
коленкор — kalingur (lihtne
puuvillane riie)
смета — eelarve
проверять счёт — arvet kont-
rollima

... Я получил право дожидаться хозяев у двери, на крыльце, когда они вечерами уходили в гости. Это случилось не часто, но они возвращались домой после полуночи, и несколько часов я сидел на площадке крыльца или на куче брёвен, против него, глядя в окна квартиры моей дамы, жадно слушая весёлый говор и музыку.

Окна открыты. Сквозь занавеси и сети цветов я видел, как по комнатам двигаются стройные фигуры офицеров, катается круглый майор, плавает она, одётая удивительно просто и красиво.

Я назвал её про себя — Королева Марго.

«Вот та самая весёлая жизнь, о которой пишут во французских книгах», — думал я, глядя в окна. И всегда мне было немножко печально: детской ревности моей больно видеть вокруг Королевы Марго мужчин, — они вились около неё, как осы над цветком.

Реже других к ней приходил высокий, невесёлый офицер, с разрубленным лбом и глубоко спрятанными глазами; он всегда приносил с собою скрипку и чудесно играл, — так играл, что под окнами останавливались прохожие, на брёвнах собирался народ со всей улицы, даже мои хозяева — если они были дома — открывали окна и слушая, хвалили музыканта.

Иногда офицер пел и читал стихи глуховатым голосом, странно задыхаясь, прижимая ладонь ко лбу. Однажды, когда я играл под окном с девочкой и Королева Марго просила его петь, он долго отказывался, потом чётко сказал:

Только песне нужна красота.

Красоте же — и песни не надо...

Мне очень понравились эти стихи, и почему-то стало жалко офицера.

Мне было приятнее смотреть на мою даму, когда она сидела у рояля, играя, одна в комнате. Музыка опьяняла меня, я ничего не видел, кроме окна, и за ним, в жёлтом свете лампы, стройную фигуру женщины, гордый про-

дѣтская ревность — lapselik
kiivus (armukadedus)
они вились вокруг неё — pad
keerlesid ta ümber

оса — herilane
рояль (м.) — klaver

филь её лица и белые руки, птицами летавшие по клавиатуре.

И соседи и вся челядь нашего двора, — а мои хозяева в особенности, — все говорили о Королеве Марго так же плохо и злобно, как о закройщице, но говорили более осторожно, понижая голоса и оглядываясь.

Боялись её, может быть, потому, что она была вдовою очень знатного человека.

Когда о Королеве Марго говорили пакостно, я переживал судорожные припадки чувств не детских, сердце моё набухало ненавистью к сплетникам, мною овладевало неукротимое желание злить всех, озорничать, а иногда я испытывал мучительные приливы жалости к себе и ко всем людям, — эта немая жалость была ещё тяжелее ненависти.

Я знал о Королеве больше, чем знали они, и я боялся, чтобы им не стало известно то, что я знаю.

По праздникам, когда хозяева уходили в собор к поздней обедне, я приходил к ней утром; она звала меня в спальню к себе, я садился на маленькое, обитое золотистым шёлком кресло, девочка влезала мне на колени, я рассказывал матери о прочитанных книгах. Она лежала на широкой кровати, положив под щеку маленькие ладошки, сложенные вместе, тело её спрятано под покрывалом, таким же золотистым, как и всё в спальне, тёмные волосы, заплетённые в косу, перекинувшись через смуглое плечо, лежали впереди её, иногда свешиваясь с кровати на пол.

Слушая меня, она смотрит в лицо моё мягкими глазами и, улыбаясь чуть заметно, говорит:

— Вот как?

Даже благожелательная улыбка её была, в моих глазах, только снисходительной улыбкой королевы. Она говорила густым ласкающим голосом, и мне казалось, что она говорит всегда одно:

челядь (ж.) — teenijaskond
пакостно — rövedalt
судорожные припадки чувств
— (elasin üle) kramplikke
tundehoogusid
сердце набухало ненавистью —
süda paisus vihkamisest
неукротимое желание — talt-
sutamatu soov

немая жалость — tumm kaas-
tunne
покрывало — sõba, tekk
благожелательная улыбка —
heasoovlik naeratus
снисходительный — üleolevalt
armulik

— Я знаю, что я неизмеримо лучше, чище всех людей, и никто из них не нужен мне.

Я много получил доброго от неё. После обеда мои хозева ложились спать, а я сбегал вниз и, если она была дома, сидел у неё по часу, даже больше.

— Читать нужно русские книги, нужно знать свою, русскую жизнь, — поучала она меня, втыкая лóвкими розовыми пальцами шпильки в свои душистые волосы.

И, перечисляя имена русских писателей, спрашивала:

— Ты запомнишь?

Она часто говорила задумчиво и с лёгкой досадой:

— Тебе нужно учиться, учиться, а я всё забываю об этом! Ах, боже мой...

Посидев у неё, я бежал наверх с новой книгой в руках и словно вымытый изнутри.

Я уже прочитал «Семейную хронику» Аксакова, славную русскую поэму «В лесах», удивительные «Записки охотника», несколько томиков Гребенки и Соллогуба, стихи Веневитинова, Одоёвского, Тютчева. Эти книги вымыли мне душу, очистив её от шелухи впечатлений нищей и горькой действительности; я почувствовал, что такое хорошая книга, и понял её необходимость для меня. От этих книг в душе спокойно сложилась стойкая уверенность: я не один на земле и — не пропадú!

Королеве Марго не удалось позаботиться о том, чтобы я учился, — на трóицу разыгралась протóвная история и едва не погубила меня. — — — — —

На четвёртые сутки после этого — я ушёл из дома. Мне нестерпимо хотелось проститься с Королéвой Маргó, но у меня не хватило смелости пойти к ней, и, признаться, я ждал, что она сама позовёт меня.

— Скажи маме, что я очень благодарю её, очень! Скажешь?

— Скажу, — обещала она, ласково и нежно улыбаясь. — Прощай до завтра, да?

Я встретил её лет через двадцать, замужем за офицером-жандармом...

втыкая шпильки — *torgates*
juuksenõelu (juustesse)
шелуха — *koor, kest*

стойкая уверенность — *kindel*
veendumus
трóица — *nelipüha*

Позднею осенью, когда рейсы парохода кончились, я поступил учеником в мастерскую иконописи, но через день хозяйка моя, мягкая и пьяненькая старушка, объявила мне владимирским говором:

— Дни теперя корóтенские, вечерá длинные, так ты с утра будешь в лавку ходить, мальчиком при лавке постоишь, а вечерами — учишь!

И отдала меня во власть маленького, быстронóгого приказчика, молодого парня с красивеньким, приторным лицом. Лавка была тесно набита иконами разных размеров, киотами, гладкими и с «виноградом», книгами церковнославянской печати, в переплётках жёлтой кожи. Рядом с нашей лавкой помещалась другая, в ней торговал тоже иконами и книгами черноборóдый купец.

В базáрные дни, среду и пятницу, торговля шла бойко, на террасе то и дело появлялись мужики и старухи, иногда целые сёмьи, всё — старообрядцы из Заволжья, недоверчивый и угрюмый лесной народ. Увидишь, бывало, как медленно, точно боясь провалиться, шагает по галерее тяжёлый человек, закутанный в овчину и толстое, дома валяное сукно, — станóвится нелóвко перед ним, стыдно. С великим усилием встанешь на дороге ему, вёртишься под его ногами в пудовых сапогах и комаром поёшь:

— Что вам угодно, почтённый? Псалтири слéдованные и толкóвые, Ефрема Сирина книги, Кирилловы, уставы, часослóвы — пожалуйста, взгляните! Иконы все, какие желаете, на разные цены, лучшей работы, тёмных красок! На заказ пишем кого угодно, всех святых и богородиц! Именную, может, желаете заказать, семейную? Лучшая мастерская в России! Первая торговля в городе!

Непроницаемый и непонятный покупатель долго молчит, глядя на меня, как на собаку, и вдруг, отодвинув

рейсы парохода — laevasõidud
 мастерская иконописи — ikoonide töökoda
 говор — (keele)murrak
 с приторным лицом — läägenäoline
 в базáрные дни — turupäevil

старообрядцы — vanausulised
 дома валяное сукно — kodusvanutatud kalev
 слéдованные и толкóвые — (psaltrid) tõlgenduste ja seletustega
 на заказ — tellimise peale

меня в сторону деревянной рукою, идёт в лавку соседа, а приказчик мой, потирая большие уши, сердито ворчит:

— Упустил, тор-рговец...

В лавке соседа гудит мягкий, сладкий голос, течёт одуряющая речь:

— Мы, родимый, не овчиной торгуем, не сапогом, а — божьей благодатью, которая превыше сребра-злата, и нет ей никакой цены...

— Ч-чорт! — шепчет мой приказчик с завистью и восхищением. — Здорово заливает глаза мужику! Учись! Учись!

Я учился добросовестно, — всякое дело надо делать хорошо, коли взялся за него. Но я плохо преуспевал в заманивании покупателей и в торговле; эти угрюмые мужики, скупые на слова, старухи, похожие на крыс, всегда чем-то испуганные, поникшие, вызывали у меня жалость к ним, хотелось сказать тихонько покупателю настоящую цену иконы, не спрашивая лишнего двугривенного. Все они казались мне бедными, голодными, и было странно видеть, что эти люди платят по три рубля с полтиной за псалтирь — книгу, которую они покупали чаще других.

Они удивляли меня своим знанием книг, достоинств письма на иконах, а однажды седенький старичок, которого я загонял в лавку, коротко сказал мне:

— Неправда это будет, малый, что ваша мастерская по иконам самолучшая в России, самолучшая-то — Рогожина, в Москве!

Смутясь, я посторонился, а он тихонько пошёл дальше, не зайдя и в лавку соседа.

— Съел? — ехидно спросил меня приказчик.

— Вы мне не говорили про мастерскую Рогожина...

Он начал ругаться:

— Шляются вот эдакие тихони и всё знают, анафемы, всё понимают, старые псы...

Иногда эти лесные люди спорили с приказчиком, и мне было ясно, что они знают писание лучше, чем он.

одуряющая речь — uimastav

kõne

овчина = выделанная овечья

шкура

сребро-злато = серебро-золото

здорово заливает глаза — tore-

dasti ajab puru silma

я плохо преуспевал — ma ede-

nesin vaevaliselt

достоинство — väärtus

анафемы = здесь: черти

— Язычники болотные, — ворчал приказчик.

Я видел также, что, хотя новая книга и не по сердцу мужику, он смотрит на неё с уважением, прикасается к ней осторожно, словно книга способна вылететь птицей из рук его. Это было очень приятно видеть, потому что и для меня книга — чудо, в ней заключена душа написавшего её; открыв книгу, я освобождаю эту душу, и она тайнственно говорит со мною.

Весьма часто старики и старухи приносили продавать древнепечатные книги дониконовских времён или списки таких книг, древнего письма иконы, кресты и серебряные ковши. Всё это предлагалось тайнственно, с оглядкой, из-под полы.

И мой приказчик и наш сосед очень зорко следили за такими продавцами, стараясь перехватить их друг у друга; покупая древности за рубли и десятки рублей, они продавали их на ярмарке богатым старообрядцам за сотни.

Приказчик поучал меня:

— Ты следи за этими лешими, за колдуньями, во все глаза следи! Они счастье с собой приносят.

Когда являлся такой продавец, приказчик посылал меня за начётчиком Петром Васильевичем, знатком старопечатных книг, икон и всяких древностей.

Это был высокий старик, с длинной бородою Василия Блаженного, с умными глазами на приятном лице. Плюснá одной ноги у него была отрублена, он ходил прихрамывая, с длинной палкой в руке, зиму и лето в лёгкой, тонкой поддёвке, похожей на рясу, в бархатном картузё странной формы, похожем на кастрюлю. Бодрый, прямой, он, входя в лавку, опускал плечи, изгибал спину, охал тихонько, часто крестился двумя перстами и всё время бормотал молитвы, псалмы. Это благочестие и старческая слабость сразу внушали продавцу доверие к начётчику.

язычники болотные — soopaga-
nad

не по сердцу = не нравится

тайнственно — salaparaselt

древнепечатные книги — vanas
trükis raamatud

списки = копии

с оглядкой, из-под полы —
ringi piiludes, hõlma alt

начётчик — kirjatundja

плюсна́ ноги — jalalaba

поддёвка = верхняя одежда

ряса — (õigeusu) preestri v
munga ülekuub

двумя перстами = пальцами

благочестие — vagadus

— В чём дела-то вы́пачканы у вас? — спрашивал старик.

— Вот ико́на продаётся, принёс человек, говорит — стрóгановская.

— Чего?

— Стрóгановская.

— Ага... Плохо слышу, заградíл господь ухо моё от мёрзости словес никонианских...

Сняв картуз, он держит икону горизонтально, смотрит вдоль письма, сбоку, прямо, смотрит на шпóнку в доске, щуря глаза и мурлы́ча:

— Безбожники никони́ане, любовь нашу к древнему благообразно заметя и диаволом науча́емы преехи́дно фальшам разным, — ныне и святы́е образа́ поддélyвають ловке, ой, ловко! С виду-то образ будто и впрямь стрóгановских али усти́ожских пи́сем, а то — сýздальских, ну, а взгляди́сь о́ком внутренним — фáльша!

Если он говорит «фальша», значит — икона дорогая и редкая. Ряд усло́вных выраже́ний указы́вает приказчику, сколько можно дать за икону, за книгу; я знаю, что слова «уны́ние и скорбь» значат — десять рублей, «Ни́кон-тигр» — двадцать пять; мне стыдно видеть, как обманывают продавца́, но ловкая игра начётчика увлека́ет меня.

— Никониане-то, чёрные дети Никона-тигра, всё могут сделать, бёсом руководимы, — вот и левка́с будто настоящий, и доли́чное одной рукой написано, а лик-то, гляди, — не та кисть, не та! Старые-то мастера́, как Симон Ушаков, — хоть он ерети́к был, — сам весь образ писал, и доличное и лик, сам и левкас наводил, а наших дней богомёрзкие люди́шки этого не могут! Раньше-то иконопись святы́м делом была, а ныне — худо́жество одно, так-то, бо́говы!

заградíл от мёрзости — *sulges*
(*kõrvad*) *jäleduste eest*

шпóнка — *ühenduspulk*

безбожник — *jumal'akartmatu*

поддélyвають ловко — *teevad*
osavasti järele

усло́вные выраже́ния — *leppe-*
väljendid

левка́с — *kitikiht*

доли́чное = всё «до лица»
написанное (*maalitud*): руки,
ноги, одежда; а лицо иконы
пишет другой художник —
ли́чник

лик = лицо

кисть (*ж.*) — *pintsel*

богомёрзкий — *jumalavallatu*

худо́жество = искусство писа-
ния картин

Наконец он осторóжно кладёт икону на прилавок и, надев картуз, говорит:

— Грехí.

Это значит — покупай!

Утóпленный в реке, сладких ему слов, поражённый знаниями старика, продавец уважительно спрашивает:

— Как же, почтённый, икона-то?

— Икона — никонианской руки.

— Быть того не может! На неё деды, прадеды молились...

— Никон¹ пораньше прадеда твоего жил.

Старик подносит икону к лицу продавца и уже строго внушает:

— Ты гляди, какая она весёлая, али это икона? Это — картина, слепое художество, никонианская забава, — в этой вещи духа нет! Буду ли я неправо говорить? Я — человек старый, за правду гонимый, мне скоро до бога идти, мне душой кривить — расчёта нет!

Он выходит из лавки на террасу, умирающий от старческой слабости, обижённый недоверием к его оценке. Приказчик платит за икону несколько рублей, продавец уходит, низко поклонясь Петру Васильевичу; меня посылают в трактир за кипятком для чая; возвратясь, я застаю начётчика бодрым, весёлым; любовно разглядывая покупку, он учит приказчика:

— Гляди: икона — стрóгая, писана тóнко, со страхом божиим, человекье — отрínуто в ней...

— А чьё письмо? — спрашивает приказчик, сияя и подпрыгивая.

— Это тебе рано знать.

— Ох, Пётр Васильевич...

— Это мне неизвестно. Давай, кое-кому покажу...

— А сколько дадут знатоки?

— А если продам — тебе полсóтни, а что сверх того — моё!

прадеды — esivanemad
кривить душой — valskust te-
geta

нет расчёта == нет смысла
отрínуто = откинута, отброшено

¹ Patriarh Nikoni poolt teostatud parandused kirikuraamatuis tsaar Aleksei Mihhailovitši (1645—76) ajal tekitasid Vene kirikus suur- lõhe — raskolli.

— Ох...

— Да ты не охай...

Они пьют чай, бесстыдно торгуясь, глядя друг на друга глазами жуликов. Приказчик весь в руках старика, это ясно; а когда старик уйдёт, он скажет мне:

— Ты смотри, не болтай хозяйке про эту покупку!

XIII

Иконописная мастерская помещалась в двух комнатах большого полукáменного дома; одна комната о трёх окнах во двор и двух — в сад; другая — окно в сад, окно на улицу. Окна маленькие, квадратные, стёкла в них, радужные от старости, неохотно пропускают в мастерскую бедный, рассеянный свет зимних дней.

Обе комнаты тесно заставлены столами, за каждым столом сидит, согнувшись, иконописец, за иным — по двое. С потолка спускаются на бечёвках стеклянные шары; налитые водою, они собирают свет лампы, отбрасывая его на квадратную доску иконы белым, холодным лучом.

В мастерской жарко и душно; работает около двадцати человек «богомазов»; все сидят в ситцевых рубашках с расстёгнутыми воротами в тиковых подштáнниках, босые или в опóрках. Над головами мастеров простёрта сизая пеленá сожжённой махóрки, стоит густой запах оліфы, лака, тóхлых яиц. Медленно, как смола, течёт заунывная владимирская песня:

Какой нынче стал бессóвестный народ —
При народе мальчик девочку прельстíл...

Поют и другие песни, тоже невесёлые, но эту — чаще других. Её тягучий мотив не мешает думать, не мешает

бесстыдно торгуясь — *häbitult kaubeldes*

пропускать рассеянный свет —
(*hajuvat*) *valgust läbi laskma*

бечёвка — *põõ*

«богомаз» (от сл. «мазать» —
määrima, вóбрама) = иконописец

с расстёгнутыми вóрторами — *avatud (särgi)kaelustega*

в тиковых полштáнниках —
tikkriidest aluspükstes

в опóрках — *kottades*

оліфа — *värnits*

тóхлые яйца — *mädamunad*

заунывный — *nukker*

прельстíть — *ära võrgutama*

водить тонкой кисточкой из волос горностáя по рисунку икóны, раскрашивая складки «доли́чного», накладывая на костяные лица святых тоненькие морщинки страдания.

Иконопись никого не увлекает; какой-то злой мудрец раздробил работу на длинный ряд действий, лишённых красоты, не способных возбудить любовь к делу, интерес к нему. Косоглазый столяр Панфил, злой и ехидный, приносит выстроганные им и склеенные кипарисовые и липовые доски разных размеров; чахоточный парень Давидов грунтуёт их; его товарищ Сорóкин кладёт «левкас»; Миляшин сводит карандашом рисунок с подлинника; старик Гóголев золотит и чеканит по золоту узор; доличники пишут пейзаж и одеяние иконы, затем она, без лица и ручек, стоит у стены, ожидая работы личников.

Очень неприятно видеть большие иконы для иконостáсов и алтарных дверей, когда они стоят у стены без лица, рук и ног, — только одни ризы или латы и коротенькие рубашечки архангелов. От этих пёстро расписанных досок веет мёртвым; того, что должно оживить их, нет, но кажется что оно уже было и чудесно исчезло, оставив только свои тяжёлые ризы.

Когда «тельце» написано личником, икону сдают мастеру, который накладывает по узору чеканки «финифть»; надписи пишет тоже отдельный мастер, а кроет лаком сам управляющий мастерскою, Иван Ларионыч, тихий человек.

Лицо у него серое, боро́дка тоже серая, из тонких шелковых волос, серые глаза как-то особенно глубоки и печальны. Он хорошо улыбается, но ему не улыбнёшься, неловко как-то. Он похож на икону Симеона Столпника — такой же сухой, тощий, и его неподвижные глаза так же отвлечённо смотрят куда-то вдаль, сквозь людей и стены.

Я смотрел на Ларионыча, недоумённо соображая: почему крепкие, буйные люди так легко подчиняются ему?

горностáй — kárp, hermeliin
увлекáть — veetlema
раздробил = разделил
косоглазый — kóõrdsilmne
выстроганный — hõõveldatud
чахоточный — tiisikushaige
грунтовáть — kruntima

пейзаж и одеяние — tagapõhi ja riietus
латы (мн.) — soomussärk
архангел — peangel
тельце = тело
личник = художник, который пишет лицо иконы
соображáть — arutama

Он всем показывал, как надо работать, даже лучшие мастера охотно слушали его советы; Капендюхина он учил больше и многословнее, чем других.

— Ты, Капендюхин, называешься — живописец, это значит, ты должен живо писать, итальянской манерой. Живопись маслом требует единства красок тёплых, а ты вот подвёл избыточно белил, и вышли у богородицы глазки холодные, зѣмние. Щѣчки написаны румяно, яблоками, а глазки — чужие к ним. Да и неверно поставлены — один заглянул в переносье, другой на висок отодвинут, и вышло личико не свято-чистое, а хитрое, земное. Не думаешь ты над работой Капендюхин.

Казак, слушая, кривит лицо, потом, бесстыдно улыбаясь бабьими глазами, говорит приятным голосом, немножко сильным от пьянства:

— Эх, Иван Ларионыч, отец, — не моё это дело. Я музыкантом родился, а меня — в монахи!

— Усердием всякое дело можно одолеть.

— Нет, что такое я? Мне бы в кучера да тройку борзых, э...

И, выгнув кадык, он отчаянно затягивает:

Э, и-ах за-апрягү я тройку бѳрзых

Темнокáрих лошадей,

Ох, да помчүся в ноченьку морозну

Да прямо — ой, прямо к лѳбушке своей!

Иван Ларионович, покорно улыбаясь, поправляет очки на сером, печальном носу и отходит прочь, а десяток голосов дружно подхватывают песню, сливаясь в могучий поток, и, точно подняв на воздух всю мастерскую, мерными толчками качает её.

По привычке — кони знают,

Где су-дáрушка живёт...

Ученик Пашка Одинцѳв, бросив отливать желтки яиц, держа в руках по скорлупе, великолепным дискантом ведёт подголѳсье.

Опьянённые звуками, все забылись, все дышат одной грудью, живут одним чувством, ѳскоса следя за казакѳм.

живо писать — elavalt maalima

избыточно — обильно, больше

чем нужно

переносье — ninajuur

сильный голос — kähisev hääli

кадык — kōrisõlm

темнокáрий — tumepruun

подголѳсок — täitehääli

Когда он пел, мастерская признавала его своим владыкой; все тянулись к нему, следя за широкими взмахами его рук, — он разводил руками, точно собираясь лететь. Я уверен, что если бы он, вдруг прервав песню, крикнул: «Бей, ломай всё!» — все, даже самые солидные мастера, в несколько минут разнесли бы мастерскую в щепы.

Пел он редко, но власть его буйных песен была всегда одинаково неотразима и победна; как бы тяжело ни были настроены люди, он поднимал и зажигал их, все напрягались, становясь в жарком слиянии сил могучим органом.

У меня эти песни вызывали горячее чувство зависти к певцу, к его красивой власти на людьми; что-то жутко волнующее вливалось в сердце, расширяя его до боли, хотелось плакать и кричать поющим людям:

«Я люблю вас!»

Чахоточный, жёлтый Давидов, весь в клочьях волос, тоже открывал рот, странно уподобляясь галчонку, только что вылупившемуся из яйца.

Весёлые, буйные песни пелись только тогда, когда их заводил казак, чаще же пели унылые и тягучие о «бессовестном народе», «Уж как под лесом-лесочком» и о смерти Александра I: «Как поехал наш Александра свою армию смотреть».

Иногда, по предложению лучшего личника нашей мастерской Жихарёва, пробовали петь церковное, но это редко удавалось. Жихарёв всегда добивался какой-то особенной, только ему одному понятной стройности и всем мешал петь.

Жихарёв обиженно принимается за работу. Он лучший мастер, может писать лицо по-византийски, по-фряжски и «живописно», итальянской манерой. Принимая заказы на иконостасы, Ларионыч советуется с ним, — он тонкий знаток иконописных подлинников, все дорогие копии чудотворных икон — Феодоровской, Смоленской,

признавала владыкой — tunnustas oma valitsejaks	унылые и тягучие — kurblikud ja venivad
разнесли бы в щепы — purustaksid pilbasteks	редко удавалось — (see) õnnestus harva
власть неотразима — (laulu) võim on tagasitõrjumatu	добиваться — taotlema
тяжело настроены — raskes meeleolus	стройность = гармония подлинник = оригинал

Казанской и других — проходят через его руки. Но, рёясь в подлинниках, он громко ворчѣт:

— Связали нас подлиннички эти... Надо сказать прямо: связали!..

Несмотря на важное своё положение в мастерской, он занѳсчив менее других, ласково относится к ученикам — ко мне и Павлу; хочет научить нас мастерству — этим никто не занимается, кроме него.

Его трудно понять; вообще — невесёлый человек, он иногда целую неделю работает молча, точно немой; смотрит на всех удивлённо и чуждо, будто впервые видя знакомых ему людей. И хотя очень любит пение, но в эти дни не поёт и даже словно не слышит песен. Все следят за ним, подмигивая на него друг другу. Он согнулся над косо поставленной иконой, доска её стоит на коленях у него, середина упирается на край стола, его тонкая кисть тщательно выписывает тёмное, отчуждённое лицо, сам он тоже тёмный и отчуждённый.

XIV

1

Мои обязанности в мастерской были несложны: утром, когда ещё все спят, я должен был приготовить мастерам самовар, а пока они пили чай в кухне, мы с Павлом прибирали мастерскую, отделяли для красок желтки от белков, затем я отправлялся в лавку. Вечером меня заставляли растирать краски и «присматриваться» к мастерству. Сначала я «присматривался» с большим интересом, но скоро понял, что почти все, занятые этим раздроблённым на куски мастерством, не любят его и страдают мучительной скукой.

Вечера мои были свободны, я рассказывал людям о жизни на пароходе, рассказывал разные истории из

рёться (рёюсь, рёется) —	tuh-	были несложны —	polnud kee-
пима		rukad	
ворчать —	torisema	растирать краски —	värvi hõõ-
заносчивый —	upsakas, ülbe	гума	
отчуждённое лицо —	võõrdunud	раздроблённый —	kildudeks jao-
пáгу		tatud	

книг и, незаметно для себя, занял в мастерской какое-то особенное место — рассказчика и чтеца.

Я скоро понял, что все эти люди видели и знают меньше меня; почти каждый из них с детства был посажен в тесную клетку мастерства и с той поры сидит в ней. Из всей мастерской только Жихарёв был в Москве, о которой он говорил внушительно и хмуро:

— Москва слезам не верит, там гляди в оба!

Все остальные бывали только в Шуе, Владимире; когда говорили о Казани, меня спрашивали:

— А русских много там? И церкви есть?

Пермь для них была в Сибири; они не верили, что Сибирь — за Уралом.

— Судакóв-то уральских и осётров оттуда привозят, с Каспийского моря? Значит — Урал на море!

Иногда мне думалось, что они смеются надо мною, утверждая, что Англия — за морем-океаном, а Бонапарт родом из калужских дворян. Когда я рассказывал им о том, что сам видел, они плохо верили мне, но все любили страшные сказки, запутанные истории; даже пожилые люди явно предпочитали выдумку — правде; я хорошо видел, что чем более невероятны события, чем больше в рассказе фантазии, тем внимательнее слушают меня люди. Вообще действительность не занимала их и все мечтательно заглядывали в будущее, не желая видеть бедность и уродство настоящего.

Это меня тем более удивляло, что я уже довольно резко чувствовал противоречия между жизнью и книгой; вот предо мною живые люди, и в книгах нет таких: нет Смурого, кочегара Якова, бегуна Александра Васильева, Жихарёва, прачки Натальи...

В сундуке Давидова оказались потрепанные рассказы Голицинского, «Иван Выжигин» Булгарина, томик барона Брамбёуса; я прочитал всё это вслух, всем понравилось, а Ларио́ныч сказал:

— Чтение отмечает ссоры и шум — это хорошо!

Я стал усердно искать книг, находил их и почти каждый

глядя́ в оба — hoia silmad lahti
запу́танная исто́рия — segane

lugu
пожилые люди — elatanud ini-
mesed

явно предпочитали выдумку —

ilmselt eelistasid väljamõeldisi
(tõele)

урóдство настоящего — oleviku
värdjalik inetus

противорéчие — vastuolu

отмеча́ет — pühib minema

вечер читал. Это были хорошие вечера; в мастерской тихо, как ночью, над столами висят стеклянные шары — белые, холодные звёзды, их лучи освещают лохматые и лыбые головы, приникшие к столам: я вижу спокойные, задумчивые лица, иногда раздаётся возглас похвалы автору книги или герою. Люди внимательны и кратки непохоже на себя; я очень люблю их в эти часы, и они тоже относятся ко мне хорошо; я чувствовал себя на месте.

— С книгами у нас стало, как весной, когда зимние рамы выставляют и первый раз окна на волю откроют, — сказал однажды Ситанов.

Трудно было доставать книги; записаться в библиотеку не догадались, но я всё-таки как-то ухитрился и доставал книжки, выпрашивая их всюду, как милостыню. Однажды пожарный брандмейстер дал мне том Лермонтова, и вот я почувствовал силу поэзии, её могучее влияние на людей.

Помню, уже с первых строк «Демона» Ситанов заглянул в книгу, потом, — в лицо мне, положил кисть на стол и, сунув длинные руки в колени, закачался, улыбаясь. Под ним заскрипел стул.

— Тише братцы, — сказал Ларионыч и, тоже бросив работу, подошёл к столу Ситанова, за которым я читал. Поэма волновала меня мучительно и сладко, у меня слышался голос, я плохо видел строки стихов, слёзы навертывались на глаза. Но ещё более волновало глухое, осторожное движение в мастерской, вся она тяжело ворочалась, и точно магнит тянул людей ко мне. Когда я кончил первую часть, почти все стояли вокруг стола, тесно прислонившись друг к другу, обнявшись, хмурясь и улыбаясь.

— Читай, читай, — сказал Жихарёв, наклоня мою голову над книгой.

Я кончил читать, он взял книгу, посмотрел её титул и, сунув под мышку себе объявил:

— Это надо ещё раз прочитать! Завтра опять прочитаешь. Книгу я спрячу.

приникшие к столам — laudade
kohale vajunud (pead)

не догадались — (me) ei taiba-
nud

ухитриться — (kavala nõksu
abil) toime tulema

милостыня — almus

тяжело ворочаться — gaskelt
pöörlema

Отошёл, запер Лермонтова в ящик своего стола и принялся за работу. В мастерской было тихо, люди осторожно расходились к своим столам; Ситанов подошёл к окну, прислонился лбом к стеклу и застыл, а Жихарёв, снова отложив кисть, сказал строгим голосом:

— Вот это — житиё, рабы божие... да!

Приподнял плечи, спрятал голову и продолжал:

— Деймона я могу даже написать: телом чёрен и мохнат, крылья огненно-красные — суриком, а личико, ручки ножки — досиня белые, примерно, как снег в месячную ночь.

Он вплоть до ужина беспокойно и несвойственно ему вертелся на табурёте, играл пальцами и непонятно говорил о демоне, о женщинах и Еве, о рае и о том, как грешили святые.

— Это всё правда! — утверждал он. — Ежели святые грешат с грешными женщинами, то, конечно, демону лёгко согрешить с душой чистой...

Его слушали молча; должно быть, всем, как и мне, не хотелось говорить. Работали неохотно, поглядывая на часы, а когда пробило девять — бросили работу очень дружно.

Ситанов и Жихарёв вышли на двор, я пошёл с ними. Там, глядя на звёзды, Ситанов сказал:

Кочующие караваны
В пространстве брошенных светил...

— этого не выдумаешь!

— Я никаких слов не помню, — заметил Жихарёв, вздрагивая на остром холоде. — Ничего не помню, а его — вижу! Удивительно это — человек заставил чорта пожалеть? Ведь жалко его, а?

— Жалко, — согласился Ситанов.

— Вот что значит — человек! — памятно воскликнул Жихарёв.

В сенях он предупредил меня:

— Ты, Максимыч, никому не говори в лавке про эту книгу: она, конечно, запрещённая!

прислониться — najatuma
деймон = демон
сурик — menning, pliipunane

несвойственно ему — talle mitte-
omaselt
лёгко — meelitav
памятно — meeldejäãvalt

Я обрадовался: так вот о каких книгах спрашивал меня священник на исповеди!

Ужинали вяло, без обычного шума и говора, как будто со всеми случилось нечто важное, о чём надо упорно подумать. А после ужина, когда все улеглись спать, Жихарёв сказал мне, вынув книгу:

— Ну-ка, ещё раз прочитай это! Порéже, не топись...

Несколько человек молча встали с постелей, подошли к столу и уселись вокруг него раздетые, поджимая ноги. И снова, когда я кончил читать, Жихарёв сказал, постукивая пальцами по столу:

— Это — житиё! Ах, дэмон, демон... вот как, брат, а?

Ситанов качнулся через моё плечо, прочитал что-то и засмеялся, говоря:

— Спишу себе в тетрадь...

Жихарёв встал и понёс книгу к своему столу, но остановился и вдруг стал говорить обиженно, вздрагивающим голосом:

— Живём, как слепые щенята, что к чему — не знаем, ни богу, ни демону не надобны!

2

Мастера храпят, мычат во сне, кто-то бредит, захлёбываясь словами, на полáтях выкашливает остатки своей жизни Давидов. Со стен смотрят иконы без лиц, без рук и ног. Душит густой запах олифы, тухлых яиц, грязи, переки́шей в щелях пола.

— До чего же мне жалко всех! — шепчет Павел. — Господи!

Эта жалость к людям и меня всё более беспокоит. Нам обоим все мастера казались хорошими людьми, а жизнь — была плоха, недостойна их, невыносимо скучна. В дни зимних вьюг, когда всё на земле — дома, деревья — тряслось, вьло, плакало и великопóстно звонили унылые колокола, скúка вливалась в мастерскую волною, тяжкой, как свинёц, давила людей, умерщвляя в них всё живое.

вяло — loiult

выкашливать — vālja rōgistama

недостойная жизнь — ebavāāri-
kas elu

невыносимо скучна — talumatult
igav

тяжкая как свинёц — tinaraske
(laine)

В такие вечера — книги не помогали, и тогда мы с Павлом старались развлечь людей своими средствами: ма́зали рожи себе са́жей, кра́сками, украша́лись пенько́й и, разыгрывая разные комедии, сочинённые нами, героически боролись со скукой, заставляя людей смеяться. Вспомнив «Предание о том, как солдат спас Петра Великого», я изложил эту книжку в разговорной форме, мы влезали на полáти к Давидову и лицедействовали там, вёсело срубая головы воображаемым шведам; публика — хохотáла.

Ей особенно нравилась легенда о китайском чорте Цинги Ю-тонге; Пашка изображал несчастного чорта, которому вздумалось сделать доброе дело, а я — всё остальное: людей обóего пола, предметы, доброго духа и даже ка́мень, на котором отдыхал китайский чорт в великом ун́нии после каждой из своих безуспёшных попы́ток сотвори́ть добро.

Публика хохотала, а я удивлялся, как легко можно было заставить её смеяться, — эта лёгкость неприятно задева́ла меня.

— Ах, пая́цы! — кричали нам. — Ах, супоста́ты!

Но чем дальше, тем более назойливо думалось мне, что душе этих людей печаль ближе радости.

Это натужное веселье, разбу́женное толчками извне, раздражало меня, и, до самозабвения возбуждённый, я начинал рассказывать и разыгрывать внезапно созданные фанта́зии, — уж очень хотелось мне вызвать истинную, свободную и лёгкую радость в людях! Чего-то я достигал, меня хвалили, мне удивлялись, но тоска́, которую мне как будто удавалось поколеба́ть, снова медленно густела и крепла, пригнетáя людей.

Серый Ларио́ныч ласково говорил:

— Ну, и забáвник ты, господь с тобой!

развлечь = увеселить
пенька́ — kanep
лицедействовать = играть в лицах — (veiderdama)
воображаемым шведам — kujuteldavail rootslastel
людей обóего пола — mõlemast soost inimesi
безуспёшная попы́тка — ebaõnnestunud katse

сотвори́ть добро́ = сделать добро
задева́ть — givama
супоста́т = враг, противник
натужное веселье — pingutatud lõbusus
поколеба́ть — kõigutama
пригнетáть — gõhuma
забáвник — naljahammast

— Утешитель, — поддерживал его Жихарёв. — Ты, Максимыч, направляй себя в цирк али в театр, из тебя должен выйти хо-ороший паяц!

XV

Таяли снегá в поле, таяли зимние облакá в небе, падая на землю мокрым снегом и дождём; всё медленнее проходило солнце свой дневной путь, теплее становился воздух, казалось, что пришло уже весеннее веселье, шутиво прячется где-то за городом в полях и скоро хлынет на город. На улицах — рыжая грязь, около панелей бегут ручьи, на проталинах Арестантской площади весело прыгают воробьи. И в людях заметна воробьиная суетливость. Над весенним шумом, почти непрерывно с утра до вечера, течёт великопóстный звон, покачивая сердце мягкими толчками, — в этом звоне, как в речах старика, скрыто нечто обижённое, кажется, что колоколá обо всём говорят с холодным унёнием:

«Было-о, было это, было-о...»

В день моих именин мастерская подарила мне маленький, красиво написанный образ Алексия — божия человека, и Жихарёв внушительно сказал длинную речь, очень памятную мне.

— Кто ты есть? — говорил он, играя пальцами, приподняв брови. — Не больше как мальчишка, сиротá, тринадцати годóв от роду, а я — старше тебя вчетверо почти и хвалю тебя, одобряю за то, что ты ко всему стойшь не бóком, а лицóм! Так и стой всегда, это хорошо!

Говорил он о рабáх бóжьих и о людях его, но разница между людьми и рабами осталась непонятной мне, да и ему, должно быть, неясна была. Он говорил скучно, мастерская посмёивалась над ним, я стоял с икóною в руках, очень трóнутый и смущённый, не зная, что мне делать. Наконец Капендюхин досáдливо крикнул оратору:

утешитель (м.) — lohutaja
хлынет на город — paiskub lin-
na peale
панель (ж.) — (tánava) kõnni-
tee

проталина — maapaljand (lumes)
внушительно — mõjukalt
трóнутый и смущённый — liigu-
tatud ja hämmeldunud
досáдливо = сердито

— Да перестань отпевать его, вон у него даже уши посинели.

Потом, хлопнув меня по плечу, тоже похвалил:

— Хорошо в тебе то, что ты всем людям родня, — вот что хорошо! И не то что бить тебя, а и обругать — трудно, когда и есть за что!

Все смотрели на меня хорошими глазами, ласково смеивая моё смущение, ещё немножко — и я бы, наверное, разреvelся от неожиданной радости чувствовать себя человеком, нужным для этих людей.

Бабушку я видел редко; она работала неустанно, подкармливая деда, который заболел старческим слабоумием, возилась с детьми дядьев. Особенно много доставлял ей хлопот Саша, сын Михаила, красивый парень, мечтатель и книголюб. Он работал по красивым мастерским, часто переходя от одного хозяина к другому, а в промежутках сидел на шее бабушки, спокойно дожидаясь, когда она найдёт ему новое место. На её же шее висела сестра Саши, неудачно вышедшая замуж за пьяного мастерового, который бил её и выгонял, из дома.

Встречаясь с бабушкой, я всё более сознательно восхищался её душою, но — я уже чувствовал, что эта прекрасная душа ослеплена сказками, не способна видеть, не может понять явлений горькой действительности и мои тревоги, мои волнения чужды ей.

— Терпеть надо, Олеша!

Это — всё, что она могла сказать мне в ответ на мои повести о безобразиях жизни, о муках людей, о тоске — обо всём, что меня возмущало.

Всё более часто меня охватывало буйное желание озорничать, потешать людей, заставлять их смеяться. Мне удавалось это, я умел рассказывать о купцах Нижнего базара, представляя их в лицах; изображал, как мужики и бабы продают и покупают иконы, как ловко приказчик надувает их, как спорят начётчики.

отпевать = здесь: похоронить,
петь «вечную память»
родня = родственник, свой чело-
век

обругать — läbi sõimama
мечтатель (м.) — unistaja
в промежутках — vaheaegadel

сознательно — teadlikult
восхищаться = удивляться,
восторгаться
чужды ей — (on) talle võõrad
о безобразиях жизни — elu inetustest
надувать — tüssama

Мастерская хохотала, нередко мастера́ бросали работу, глядя, как я представляю, но всегда после этого Ларио́ныч советовал мне:

— Ты бы лучше после у́жина представлял, а то мешаешь работать...

Кончив «представление», я чувствовал себя легко́, точно сбросил но́шу, тяготи́вшую меня; на полчаса, на час в голове становилось приятно пусто, а потом снова казалось, что голова у меня полна острых, мелких гвоздей, они шевелятся там, нагрева́ются.

Вокруг меня вскипа́ла какая-то грязная каша, и я чувствовал, что потихоньку разва́риваюсь в ней.

Думалось:

«Неужели вся жизнь — такая? И я буду жить так, как эти люди, не найду, не увижу ничего лучшего?»

— Серди́т станови́шься, Максимыч, — говорил мне Жихарёв, внимательно поглядывая на меня.

Ситанов часто спрашивал меня:

— Ты что?

Я не умел ответить.

Жизнь упрямо и грубо стирала с души моей свои́ же лучшие письмена́, ехидно заменяя их какой-то ненужной дря́нью, — я сердито и настойчиво проти́вился её наси́лию, я плыл по той же реке, как и все, но для меня вода была холоднее, и она не так легко держала меня, как других, — порою мне казалось, что я погружа́юсь в некую глубину́.

Люди относились ко мне всё лучше, на меня не орали, как на Павла, не помыка́ли мною, меня звали по отчеству, чтобы подчеркнуть уважи́тельное отношение ко мне. Это — хорошо, но было мучи́тельно видеть, как много люди пьют водки, как они прсти́вны пьяные.

Я курил много; табак, опьяняя, притуплял беспокойные мысли, тревожные чувства. Водка, к счастью моему, возбуждала у меня отвращение своим за́пахом и вкусом, а Павел пил охотно и, напившись, жалобно плакал:

— Домой хочу я, домой! Отпустите меня домой...

Он был, помнится мне, сирота; мать и отец давно

представля́ть — *siin: etendama*
тяготи́ть — *gõhuma*
разва́риваться — *rehmeks keema*

погружа́ться — (*sügavikku*) *va-
juma*
помыка́ть = деспотически обра-
щаться

умерли у него, братьев, сестёр — не было, лет с восьми он жил по чужим людям.

В этом настроении тревожной неудовлетворённости, ещё более возбуждаемой зóвами весны, я решил снова поступить на пароход и, спустившись в Астрахань, убежать в Пёрсию.

Не помню, почему именно — в Персию, может быть, только потому, что мне очень нравились персияне-купцы на нижегородской ярмарке: сидят этакие каменные йдолы, выставив на солнце кра́шенные бóроды, спокойно покури-вая кальян, а глаза у них большие, тёмные, всезна́ющие.

Наверное, я и убежал бы куда-то, но на пасхальной неделе, когда часть мастеров уехала домой, в свои сёла, а оставшиеся пьянствовали, — гуляя в солнечный день по полю над Окой, я встретил моего хозяина, племя́нника бабушки.

Он шёл в лёгком сером пальто́, руки в карманах брюк, в зубах папи́роса, шляпа на затылке; его приятное лицо дружески улыба́лось мне. У него был подкупа́ющий вид человека свободного, весёлого, и, кроме нас двоих, в поле никого не было.

— А, Пешко́в, Христо́с воскресе!

Похристо́совались, он спросил, каково мне живётся, и я откровенно рассказал ему, что мастерская, город и всё вообще — надо́ело мне и я решил ехать в Пёрсию.

— Брось, — сказал он серьёзно. — Какая там, к чёрту, Персия? Это, брат, я знаю, в твои годы и мне тоже хоте-лось бежать ко всем чертя́м!..

Мне нравилось, что он так уха́рски швыря́ется чер-тя́ми; в нём играло что-то хорошее, весённое, весь он был — набекре́нь.

— Куришь? — спросил он, протягивая мне серебряный портсигáр с толстыми папиросами.

Ну, это уж окончательно победило меня!

— Вот что, Пешко́в, иди-ка ты опять ко мне! — пред-

не помыка́ли — (teda) ei sunni-
tud

в настро́ении неудовлетворён-
ности — rahuldamatuse mee-
olus

зов — kutse

йдол — puuslik, ebajumal

кальян — vesipiip

племянник бабушки — põbu

подкупать — siin: võluma, võit-
ma

похристо́совались = трижды по-
целовались

уха́рски швыря́ется чертя́ми —
nii uljalt loobib kuradeid

набекре́нь — siin: uljalt viltu

ложил он. — Я, брат, в этом году взял подрядов на ярмарке тысяч этак на сорок — понимаешь? Вот я и прилажу тебя на ярмарку; будешь ты у меня вроде десятника, принимать всякий материал, смотреть, чтоб всё было во-время на месте и чтоб рабочие не воровали, — идёт? Жалованье — пять в месяц и пятак на обед! Бабы тебя не касаются, с утра ты ушёл, вечером пришёл; бабы — мимо! Только ты не говори им, что мы виделись, а просто приходи в воскресенье на фоминой¹ и — шабаш!

Мы расстались друзьями, на прощанье он пожал мне руку и даже, уходя, издали приветливо помахал шляпой.

XVI

Я еду с хозяином на лодке по улицам ярмарки, среди каменных лавок, залитых половодьем до высоты вторых этажей. Я — на вёслах; хозяин, сидя на корме, неумело правит, глубоко запуская в воду кормовое весло; лодка неуклюже юлит, повёртывая из улицы в улицу по тихой, мутно задумавшейся воде.

— Эх, высока нынче вода, чорт её возьми! Задержит она работы, — ворчит хозяин, покуривая сигару; дым её пахнет горелым сукном.

— Тише! — испуганно кричит он. — На фонарь едем! Справился с лодкой и ругается:

— Ну, и лодку дали, подлецы! ..

Он показывает мне места, где, после спада воды, начнутся работы по ремонту лавок. Досиня выбритый, с подстриженными усами и сигарой в рту, он не похож на подрядчика. На нём кожаная куртка, высокие до колен сапоги, через плечо — ягдташ, в ногах торчит дорогое двухствольное ружьё Лебеля. Он то и дело беспо-

подряды — hanked
 приладить — (tööle) sobitama
 десятник — kümnik
 и — шабаш = дело с концом —
 (ja asi sellega)
 залитый половодьем — suurveest
 üle ujutatud

кормовое весло — päga-aer, mōla
 неуклюже юлит — keerleb koh-
 makalt
 ягдташ (нем.) = охотничья сум-
 ка
 двухствольное ружьё — kahe-
 gaudne püss

¹ Воскресенье на фоминой — первое воскресенье после пасхи.

койно передвигает кожаную фуражку — надвинет её на глаза, надует губы и озабоченно смотрит вокруг; собьёт фуражку на затылок, помолодеет и улыбается в усы, думая о чём-то приятном, — и не верится, что у него много работы, что медленная убыль воды беспокоит его, — в нём гуляет волна каких-то, видимо, неделовых дум.

А я подавлен чувством тихого удивления: так странно видеть этот мёртвый город, прямые ряды зданий с закрытыми окнами, — город, сплошь залитый водою и точно плывущий мимо нашей лодки.

Небо серое. Солнце заплутало в облаках, лишь изредка просвечивая сквозь их гущу большим серебряным, по-зимнему, пятном.

Вода тоже сера и холодна; течение её незаметно; кажется, что она застыла, уснула вместе с пустыми домами, рядами лавок, окрашенных в грязножёлтый цвет. Когда сквозь облака смотрит белёсое солнце, всё вокруг немножко посветлеет, вода отражает серую ткань неба, — наша лодка висит в воздухе между двух небес; каменные здания тоже приподнимаются и чуть заметно плывут к Волге, Оке. Вокруг лодки качаются разбитые бочки, ящики, корзины, щепá и солóма, иногда мёртвой змеей проплывёт жердь или бревно.

Кое-где окна открыты, на крышах рядских галерей сушится бельё, торчат валяные сапоги; из окна на серую воду смотрит женщина, к вершине чугунной колонки галерей причалена лодка, её красные борта отражены водою жирно и мясисто.

Кивая головой на эти признаки жизни, хозяин объясняет мне:

— Это — ярмарочный сторож живёт. Вылезет из окна на крышу, сядет в лодку и ездит, смотрит — нет ли где воров? А нет воров — сам ворует...

убыль воды — vee langus
гуляет волна неделовых дум —
(temas) voogab ebaäriliste mõ-
tete laine
заплутало (в облаках) = за-
блудилось
просвечивать — läbi paistma
белёсый = тускло белый — (valk-
jas-hall)

щепá = щепка (pilbas, laast)
жердь (ж.) — latt
рядские галереи = г. торговых
рядов
валяные сапоги = валенки
чугунная колонка — malmist
sambake
причалена лодка — on seotud
paat

Высадив его на одной из улиц слободы, тоже утопленной половодьем, я возвращаюсь ярмаркой на Стрелку, зачаливаю лодку и, сидя в ней, гляжу на слияние двух рек, на город, пароходы, небо. Небо, точно пыльное крыло огромной птицы, всё в белых перьях облаков. В синих пропастях между облаками является золотое солнце и одним взглядом на землю изменяет всё на ней. Всё вокруг движется бодро и надёжно, быстрое течение реки легко несёт несчётные звёнья плотов; на плотах крепко стоят бородатые мужики, ворушают длинные вёсла и орут друг на друга, на встречный пароход. Маленький пароход тащит против течения пустую баржу, река сносит, мотает его, он вёртит носом, как щука, и пыхтит, упрямо упираясь колёсами в воду, стремительно бегущую навстречу ему. На барже, свесив ноги за борт, сидят плечо в плечо четыре мужика — один в красной рубахе — и поют песню; слов не слышно, но я знаю её.

Мне кажется, что здесь, на живой реке, я всё знаю, мне всё близко и всё я могу понять. А город, затопленный сзади меня, — дурной сон, выдумка хозяина, такая же малопонятная, как сам он.

Досыта насмотревшись на всё, я возвращаюсь домой, чувствую себя взрослым человеком, способным на всякую работу. По дороге я смотрю с горы кремля на Волгу, — издали, с горы, земля кажется огромной и обещает дать всё, чего захочешь.

Дома у меня есть книги; в квартире, где жила Королева Марго, теперь живёт большое семейство: пять барышень, одна красивее другой, и двое гимназистов, — эти люди дают мне книги. Я с жадностью читаю Тургенева и удивляюсь, как у него всё понятно, просто и по-осённему прозрачно, как чисты его люди, и как хорошо всё, о чём он кротко благовестит.

высадив его — lasknud ta maaha
 minpa
 зачаливать лодку = прикрепить
 лодку
 пропасть (ж.) — kuristik
 бодро и надёжно — erksalt ja
 lootvalt
 несчётные звёнья плотов — par-
 vede loendamatud lülid

мотать — vintsutama, pillutama
 стремительно — hoogsalt, sööst-
 valt
 затопленный город — üleujuta-
 tud linn
 выдумка — väljamõeldis
 взрослый — täiskasvanud (ini-
 mene)

Читаю «Бурсу» Помяловского и тоже удивлён: это странно похоже на жизнь иконописной мастерской; мне так хорошо знакомо отчаяние скуки, перекипающее в жестокое озорство.

Хорошо было читать русские книги, в них всегда чувствовалось нечто знакомое и печальное, как будто среди страниц скрыто замер великопостный звон, — едва откроешь книгу, он уже звучит тихонько.

«Мёртвые души» я прочитал неохотно; «Записки из мёртвого дома» — тоже; «Мёртвые души», «Мёртвый дом», «Смерть», «Три смерти», «Живые мочи» — это однообразие названий книг невольно останавливало внимание, возбуждая смутную неприязнь к таким книгам. «Знамение времени», «Шаг за шагом», «Что делать?», «Хроника села Смурина» — тоже не понравились мне, как и все книги этого порядка.

Но мне очень нравились Диккенс и Вальтер Скотт; этих авторов я читал с величайшим наслаждением, по два-три раза одну и ту же книгу. Книги В. Скотта напоминали праздничную обедню в богатой церкви, — немножко длинно и скучно, а всегда торжественно; Диккенс остался для меня писателем, пред которым я почтительно преклоняюсь, — этот человек изумительно постиг труднейшее искусство любви к людям.

XVII

Каждое утро, в шесть часов, я отправлялся на работы, на ярмарку. Там меня встречали интересные люди: плотник Осип, седенький, похожий на Николая Угодника, ловкий работник и острослов; горбатый кровельщик Ефимушка; благочестивый каменщик Пётр, задумчивый человек, тоже напоминавший святого; штукату́р Григорий Шишлин, русобородый, голубоглазый красавец, сиявший тихой добротой.

Я знал этих людей во второй период жизни у чертёж-

перекипающее в жестокое озорство — mis üle keeb jultmaks ulakuseks

живые мочи — elav surnu, surmakuju (kõhna inim. kohta)

знамение времени — ajamärk

почтительно преклоняюсь — austavalt kummardun

угодник = святой

кровельщик — katusekatja

штукату́р — krohvija

ника; каждое воскресенье они, бывало, являлись в кухню, степенные, важные, с приятною речью, с новыми для меня, вкусными словами. Все эти солидные мужики тогда казались мне насквозь хорошими; каждый был по-своему интересен, все выгодно отличались от злых, вороватых и пьяных мещан слободы Кунавина.

Больше всех мне нравился тогда штукатур Шишлин, я даже просился в артель к нему, но он, почёсывая золотую бровь белым пальцем, мягко отказал мне:

— Рано для тебя, наша работа — нелёгкая, погоди год-другой...

Потом, взметнув красивой головою, спросил:

— Али не ладно живётся? Ну, ничего, потерпи, сожмись крепче в самом себе, тогда — стёрпишь!

Не знаю, что дал мне этот добрый совет, но я благодарно запомнил его.

Они и теперь приходили к моему хозяину утром каждого воскресенья, рассаживались на скамьях вокруг кухонного стола и, ожидая хозяина, интересно беседовали. Хозяин шумно и весело здоровался с ними, пожимая крепкие руки, садился в передний угол. Появлялись счёты, пачка денег, мужики раскладывали по столу свои счёта, измятые записные книжки, — начинался расчёт за неделю.

Шутя и балагуря, хозяин старался обсчитывать их, а они — его; иногда крепко ссорились, но чаще — дружно смеялись.

— Эх, милый человек, жуликом ты родился! — говорили мужики хозяину.

Он отвечал, сконфуженно посмеиваясь:

— Ну, и вы, звери-курицы, тоже довольно жуликоваты!

— Да ведь как иначе, друг? — признавался Ефимушка, а серьёзный Пётр говорил:

— Тем и жив, что украдёшь, а что выработаешь — богу да царю...

— Вот и мне охота объегорить вас! — смеялся хозяин.

Они добродушно поддерживали его:

— Поддеюлить, значит?

— Подкузьмить?

степенный — soliidne, väärikas
выгодно отличались — tulusalt
erinesid
взметнув (головою) = встряхнув

skonfуженно — häbelikult
объегорить, поддеюлить, под-
кузьмить (простон.) = обмануть

Григорий Шишлин, прижимая руками к груди пышную бороду, певуче просил:

— Братцы, а давайте просто дела делать, без обмана? Ведь ёжели честно жить — так ведь как хорошо, спокойно, а? Народ родной, а?

Голубые глаза его темнели, увлажнились; был он в эти минуты удивительно хорошо; всех как будто немножко смущала его просьба, все сконфуженно отворачивались от него.

— Мужик на много не обманет, — вздыхая, ворчал благообразный Осип, как бы жалея мужика.

Тёмный каменщик, согнув над столом сутулую спину, густо говорил:

— Грех — что болото: чем дале, тем вязче!

И в тон речам их хозяин бормочет:

— Я — что же? Откликаюсь, как а́укнется...

Пофилософствовав, снова пытаются надуть друг друга, а рассчитавшись, потные и усталые от напряжения, идут в трактир пить чай, пригласив с собою и хозяина.

На ярмарке я должен был следить, чтобы эти люди не воровали гвоздём, кирпичём, тёсу; каждый из них, кроме работы у моего хозяина, имел свои подряды, и каждый старался стащить что-нибудь из-под носа у меня на своё дело.

Они встретили меня ласково, а Шишлин сказал:

— Помнишь, ты просился в артель ко мне? А теперь, — эвон, куда тебя вознесло, будешь надо мной начальником, а?

— Ну, ну, — балагурил Осип, — стереги да береги, бог тебе помоги!

Пётр недружелюбно заметил:

— Нарядили молодого журавля управлять старыми мышами...

Мои обязанности жестоко смущали меня; мне было стыдно перед этими людьми, — все они казались знающими что-то особенное, хорошее и никому, кроме них,

немножко смущала — tegi pisut
kohmetuks

тем вязче — seda gabasem, ve-
delam

как а́укнется, так и отклик-

нется (послов.) — kuidas
(metsa) huikad, nii kajak vastu
куда тебя вознесло = как высо-
ко подняло
нарядить — komandeerima, saaf-
ta

неведомое, а я должен смотреть на них как на воров и обманщиков. Первые дни мне было трудно с ними, но Осип скоро заметил это и однажды, с глазу на глаз, сказал мне:

— Вот что, паренёк, ты не надувайся, это ни к чему — понял?

Я, конечно, ничего не понял, но почувствовал, что старик понимает нелёпость моего положения, и у меня быстро наладились с ним отношения откровенные.

Он поучал меня где-нибудь в уголке:

— Середь нас, коли хочешь знать, главный вор — каменщик Петруха; он человек многосемейный, жадный. За ним — гляди в оба, он ничем не брезгает, ему всё годится: фунт гвоздён, десяток кирпича, мешок извёстки — всё подай сюда! Человек он — хороший, богомол, мыслей строгих и грамотен, ну, а — воровать любит! Ефимушка — в баб живёт, он — смирный, он для тебя, — безобидный. Он тоже умный, горбатые — все не дураки! А вот Григорий Шишлин — этот придурковат, ему не то что чужое взять, а своё бы — отдать! Он работает вовсе впустую, его всяк может обмануть, а он — не может! Без ума руководится...

— Он — добрый?

Осип посмотрел на меня как-то издали и сказал памятные слова:

— Верно, добрый! Ленивому добрым быть — самое простое; доброта, парень, ума не просит...

— Ну, а сам ты? — спросил я Осипа. Он усмехнулся и ответил:

— Я — как девушка, — буду бабушкой, тогда про себя и скажу, ты погоди куда! А то — умом поищи, где я спрятан, — поищи-ка вот!

Он опрокидывал все мои представления о нём и его друзьях. Мне трудно было сомневаться в правде его отзывов, — я видел, что Ефимушка, Пётр, Григорий считают благообразного старика более умным и сведущим во всех житейских делах, чем сами они. Они обо всём совеща-

не надувайся — ära mossita
нелёпость положения — seisukorra rumalus
откровенные отношения — avameelsed suhted

безобидный = безвредный
придурковат = глуповат
в правде его отзывов — tema arvamuste (hinnangute) tõdes
сведущий — asjatundlik

лись с ним, выслушивали его советы внимательно, оказывали ему всякие знаки почтения.

— Сделай милость, посоветуй ты нам, — просили они его; но после одной из таких просьб, когда Осип отошёл, каменщик тихо сказал Григорию:

— Еретик.

А Григорий, усмехаясь, добавил:

— Паяц.

Штукатур дружески предупредил меня:

— Ты гляди, Максимиш, — со стариком надо жить осторожно, он тебя в один час вокруг пальца обернёт! Эдакие вот старички едучие — избави боже до чего вредны!

Я ничего не понимал.

Мне казалось, что самый честный и благочестивый человек — каменщик Пётр; он обо всём говорил кратко, внушительно, его мысль чаще всего останавливалась на боге, аде и смерти.

— Эх, ребята-братцы, как ни бейся, на что ни надейся, а гроба да погоста никому не миновать стать!

XIX

Зимой работы на ярмарке почти не было; дома я нёс, как раньше, многочисленные мелкие обязанности; они поглощали весь день, но вечера оставались свободными, я снова читал вслух хозяевам неприятные мне романы из «Нивы», из «Московского листка», а по ночам занимался чтением хороших книг и пробовал писать стихи.

Однажды, когда женщины ушли ко всёнощной, а хозяин по нездоровью остался дома, он спросил меня:

— Виктор смеётся, что ты будто, Пешков, стихи пишешь, верно, что ли? Ну-ка, почитай!

Отказать было неловко, я прочитал несколько стихотворений; они, видимо, не понравились ему, но он всё-таки сказал:

— Валяй, валяй! Может, Пушкиным будешь; читал Пушкина?

Домового ли хоронят,
Ведьму ль замуж выдают?

едучий = едкий — (sõõbiv; siin: не миновать — ei pääse mööda
terav, lõikav) обязанность — kohustus

В его пору ещё верили в домовых, ну, сам-то он, поди, не верил, а просто — шутил! — Да-а, брат, — задумчиво протянул он, — надо бы тебе учиться, а опоздал ты! Чорт знает, как ты будешь жить... Тетрадь-то свою подальше прячь, а то привяжутся бабы — засмеют... Бабы, брат, любят это — за сердце задеть...

С некоторого времени хозяин стал тих, задумчив и всё опáсливо оглядывался, а звонкий пугали его; иногда вдруг болезненно раздражался из-за пустяков, кричал на всех и убежал из дома, а поздней ночью возвращался пьяным... Чувствовалось, что в его жизни произошло что-то, никому, кроме него, неизвестное, подорвало ему сердце, и теперь он жил неуверенно, неохотно, а как-то так, по привычке.

По праздникам, от обеда до девяти часов, я уходил гулять, а вечером сидел в трактире на Ямской улице; хозяин трактира, толстый и всегда потный человек, страшно любил пение, это знали певчие почти всех церковных хоров и собирались у него; он угощал их за песни водкой, пивом, чаем. Певчие — народ пьяный и малоинтересный; пели они неохотно, только ради угощения, и почти всегда церковное, а так как благочестивые пьяницы считали, что церковному в трактире не место, хозяин приглашал их к себе в комнату, а я мог слушать пение только сквозь дверь. Но нередко в трактире певали деревенские мужики, мастеровые, — трактирщик сам разыскивал певцов по городу, спрашивал о них в базарные дни у приезжих крестьян и приглашал к себе.

Певец всегда садился на стул у стойки буфета, под бочонком водки, — голова его рисовалась на дне бочонка, как в круглой раме.

Лучше всех — и всегда какие-то особенно хорошие песни — пел маленький, тощий шорник Клещов, человек мятый, жеванный, в клочьях рыжих волос; носишко у него блестел, точно у покойника, крошечные, сонные глаза были неподвижны.

привяжутся (бабы) — tikuvad
ligi, norivad tüli
за сердце задеть — südamest
kinni haaramata
опáсливо оглядывался — piilus
kartlikult ringi

подорвать сердце — südant
õhnestama
неохотно — (elas) vastumeelselt
(салился) у стойки — leti juurde
шорник — sadulsepp
жеванный — mälutud, nāsitud

Бывало, закрѣет он их, прислонится ко дну бочонка затылком и, выпятив грудь, тихим, но всепобеждающим тенорком заведѣт скороговѣркой:

Эх, уж как пал туман на поле чистое,
Да приказрл туман дороги дальние...

Тут он вставал, опираясь поясницей на стойку, изогнувшись назад, и задушевно выводил, подняв лицо к потолку:

Эх, я ку-да, куда пойду,
Где до-орогу я широкую найду?

Голос у него был маленький, но — неутомимый; он прошивал глухой гомон трактира серебряной струной, грустные слова, стоны и выкрики побуждали всех людей, — даже пьяные становились удивленно серьёзны, молча смотрели в столы перед собою, а у меня надрывалось сердце, переполненное тем мощным чувством, которое всегда будит хорошая музыка, чудесно касаясь глубин души.

В трактире становилось тихо, как в церкви, а певец — словно добрый священник. Он не проповедует, а действительно всей душой честно молится за весь род людской, честно, вслух думает о всех горестях бедной человеческой жизни. Отовсюду на него смотрят бородатые люди, на звериных лицах задумчиво мигают детские глаза; иногда кто-нибудь вздыхает, и это хорошо подчёркивает победительную силу песни. В такие минуты мне всегда казалось, что все люди живут фальшивой, надуманной жизнью, а настоящая человеческая жизнь — вот она!

И все люди в трактире замерли, точно прислушиваясь к давно забытому, что было дорого и близко им.

Когда Клещов, кончив песню, скромно опускался на стул, трактирщик, подавая ему стакан вина, говорил с улыбкой удовольствия:

— Ну, конечно, хорошо! Хоша ты не столь поёшь, сколько рассказываешь, однако — мастер, что и говорить! Иного — никто не скажет...

скороговѣрка — kiirkõne
поясница — ristluu
гомон = неясный шум множества
голосов
о горестях — muredest
подчёркивать — siin: toonitama

надуманная жизнь — väljamõeldud elu
давно забытое — ammu-ununenud
конечно = конечно
хошá = хотя

Клещов не торопясь пил водку, осторожно крякал и тихо говорил:

— Спеть всякий может, у кого голос есть, а показать, каковá душа в песне, — это только мне дано!

— Ну, не хвáстай, одна́ко!

— Кому — нéчем, тот не хвастает, — всё так же тихо, но более упрямо говорил певец.

— Занóсчив ты, Клещов! — с досадой восклицает трактирщик.

— Выше своей души не занóшусь...

— Да будет! Лучше спой ещё...

— Петь я всегда могу, хоть во сне даже, — соглашáлся Клещов, осторожно покашливая, и начинал петь.

И все пустяки́, вся дрянь слов и намéрений, всё пошлое, трактирное — чудесно исчезало дымом; на всех вéяло струёй ино́й жизни — задúмчивой, чистой, полной любви и грусти.

Я завíдовал этому человеку, напряжённо завидовал его таланту, его власти над людьми, — он так чудесно пользовался этой властью!

... Я так усéрдно расхваливал песни шóрника хозяину, что он сказал однажды:

— Надо сходить, послушать...

И вот он сидит за столиком против меня, изумлённо подняв брови, широко открыв глаза.

По дороге в трактир он высмéивал меня и в трактире первые минуты всё издевался надо мной, публикой и удúшливыми зáпахами. Когда шорник запел, он насмешливо улыбнулся и стал наливать пиво в стакан, но налил до половины и остановился, сказав:

— Ого... чорт!

Рука его задрожáла, он тихóнько поставил бутылку и стал напряжённо слушать.

— Да-а, брат, — сказал он, вздыхая, когда Клещов кончил петь, — действительно — поёт... чорт его возьми! Даже жáрко стало...

Шорник снова запел, вскинув голову, глядя в потоло́к:

хвáстать — hooplema
занóсчив — upsakas
намéрение — kavatsus

струя́ — juga
удúшливый зáпах — lämmitav
lehk

По дороге из богатого села
Чистым полем молодая девка шла...

— Поёт, — пробормотал хозяин, качая головой и усме-
хаясь. А Клещов заливается, как свирель:

Отвечает красна девица ему:
— Сирота я, не нужна я никому...

— Хорошо, — шепчет хозяин, мигая покрасневшими
глазами, — ф-фу, чорт... хорошо!

Я смотрю на него и радуюсь; а рыдающие слова песни,
победив шум трактира, звучат всё сильнее, краше, заду-
шевнее:

Нелюдимо на селе у нас живут,
Меня, девуку, на вечерки не зовут,
Ой, бедна я да одета не к лицу,
Не годна я, знать, удалу молодцу...
Сватал вдовый, во работницу себе —
Не хочу я покориться той судьбе!..

Хозяин мой бесстыдно заплакал, — сидит, наклонив
голову, и шмыгает горбатым носом, а на колени ему ка-
пают слёзы.

После третьей песни он сказал, взволнованный и слов-
но измятый:

— Не могу больше сидеть тут — задыхаюсь, запаха
же, чорт... Едем домой!..

Но на улице он предложил:

— Айда, Пешков, в гостиницу, закусим и всё... Не
хочется домой!.. Разбередил меня этот козел... такую
грусть нагнал...

XX

Три лета прожил я «десятником» в мёртвом городе,
среди пустых зданий, наблюдая, как рабочие осенью
ломают неуклюжие каменные лавки, а весной строят
такие же.

Хозяин очень заботился, чтобы я хорошо заработал

свирель (жс.) — rajupill
задушевно = сердчно
нелюдимо — kõledalt, ebalahkelt
вечорка = вечеринка — (poorte-
õhtu, simman)

одета не к лицу — ebasobivalt
riietatud
шмыгать — (ninaga) piuskima
измятый — muljutud
разбередить = тронуть больное
место

его пять рублей. Если в лавке перестилали пол — я должен был выбрать со всей её площади землю на аршин в глубину; босяки брали за эту работу рубль, я не получал ничего, но, занятый этой работой, я не успевал следить за плотниками, а они отвинчивали дверные замки, ручки, воровали разную мелочь.

И рабочие и подрядчики всячески старались обмануть меня, украсть что-нибудь, делая это почти открыто, как бы подчиняясь скучной обязанности, и нимало не сердились, когда я уличал их, но, не сердясь, удивлялись:

— Стараешься ты за пять-то целковых, как за двадцать, глядеть смешно!

Я указывал хозяину, что, выигрывая на моём труде рубль, он всегда теряет в десять раз больше, но он, подмигивая мне, говорил:

— Ладно, притворяйся!

Я понимал, что он подозревает меня в пособничестве воровству, это вызвало у меня чувство брезгливости к нему, но не обижало; таков порядок: все воруют, и сам хозяин тоже любит взять чужое.

Осматривая после ярмарки лавки, взятые им в ремонт, и увидав забытый самовар, посуду, ковёр, ножицы, а иногда ящик или штуку товара, хозяин говорил, усмехаясь:

— Составь список вещей и снеси всё в кладовую!

А из кладовой он возил вещи домой к себе, заставляя меня по нескольку раз переправлять опись их.

Я не люблю вещей, мне ничего не хотелось иметь, даже книги стесняли меня. У меня ничего не было, кроме маленького томика Беранже и песен Гейне; хотелось приобрести Пушкина, но единственный букинист города, злой старичок, требовал за Пушкина слишком много. Мебель, ковры, зеркала и всё, что загромождало квартиру хозяина, не нравилось мне, раздражая своей грузной неуклюжестью и запахами краски, лака; мне вообще не

перестилать (пол) = обновлять

отвинчивать — lahti kruvima

уличать = доказать виновность

выигрывать — võitma; siin: kasu saama

притворяться — teesklema

пособничество — kaasaaitamine

кладовая — laoguim

переправлять опись — nimestikku parandama

приобрести — omandama

букинист = торговец подержанными книгами

загромождать — koormama

нравились комнаты хозяев, напоминая сундуки, набитые ненужным, излишним. И было противно, что хозяин таскает из кладовой чужие вещи, всё увеличивая лишнее вокруг себя. В комнатах Королевы Марго было тоже тесно, но зато — красиво.

Жизнь вообще казалась мне бессвязной, нелепой, в ней было слишком много явно глупого. Вот мы перестраиваем лавки, а весной половодье затопит их, выпятит полы, исковеркает наружные двери; спадёт вода — загниют балки. Из года в год на протяжении десятилетий вода заливает ярмарку, портит здания, мостовые; эти ежегодные пото́пы приносят огромные убытки людям, и все знают, что пото́пы эти не устранятся сами собою.

Каждую весну ледоход срезает баржи, десятки мелких судов, — люди поохают и — строят новые суда, а ледоход снова ломает их. Что за нелепая толчея на одном и том же месте!

В душе моей вскипали чёрные мысли:

«Все люди — чужие друг другу, несмотря на ласковые слова и улыбки, да и на земле все — чужие; кажется, что никто не связан с нею крепким чувством любви. Одна только бабушка любит жить и всё любит. Бабушка и великолепная Королева Марго».

Иногда эти и подобные мысли сгущались тёмною тучей, жить становилось душно и тяжело, а — как жить иначе, куда идти? Даже говорить не с кем, кроме Осипа. И я всё чаще говорил с ним.

Он выслушивал мою горячую болтовню с явным интересом, переспрашивал меня, чего-то добиваясь, и спокойно говорил:

— Упрям дятел, да не страшен, никто его не боится! Душевно я советую тебе: иди-ка ты в монастырь, поживёшь там до возраста — будешь хорошей беседой богомоллов утешать, и будет тебе спокойно, а монахам — до-

набитые излишним — liigse kraamiga täis tuubitud

бессвязная жизнь — seosetu elu
выпятит полы — koolutab põrandad üles

исковеркает = портит

загниют балки — mädanevad tallad

толчея — tammumine
сгущаться — tihenema
монастырь (м.) — klooster
монах — munk

ход! Душевно советую. К мирским делам ты, видно, не способен, что ли . . .

В монастырь не хотелось, но я чувствовал, что запутался и верчусь в заколдованном круге непонятного. Было тоскливо. Жизнь стала похожа на осенний лес, — грибы уже сошли, делать в пустом лесу нечего, и кажется, что насквозь знаешь его.

Мне только что минуло пятнадцать лет; но иногда я чувствовал себя пожилым человеком; я как-то внутренне разбух и отяжелел от всего, что пережил, прочитал, о чём беспокойно думалось. Заглянув внутрь себя, я находил своё вместилище впечатлений подобным тёмному чулану, который тесно и кое-как набит разными вещами. Разобраться в них не было ни сил, ни умения.

Во мне жило двое: один, узнав слишком много мерзости и грязи, несколько оробел от этого и, подавленный знанием буднично страшного, начинал относиться к жизни, к людям недоверчиво, подозрительно, с бессильною жалостью ко всем, а также к себе самому. Этот человек мечтал о тихой, одинокой жизни с книгами, без людей, о монастыре, лесной сторожке, железнодорожной будке, о Персии и должности ночного сторожа где-нибудь на окраине города. Поменьше людей, подальше от них . . .

Другой, крещённый святым духом честных и мудрых книг, наблюдая победную силу буднично страшного, чувствовал, как легко эта сила может оторвать ему голову, раздавить сердце грязной ступнёй, и напряжённо оборонялся, сцепив зубы, сжав кулаки, всегда готовый на всякий спор и бой. Этот любил и жалел деятельно и, как надлежало храброму герою французских романов, по третьему слову, выхватывая шпагу из ножен, становился в боевую позицию.

Я очень люблю людей и не хотел бы никого мучить, но нельзя быть сентиментальным и нельзя скрывать гроз-

верчусь в заколдованном круге
непонятного — rõõrten agu-
saamatu põitunud ringis
насквозь знаешь его — tunned
teda läbi ja läbi
я внутренне разбух — ma tur-
susin kuidagi seesmiselt
вместилище впечатлений — mul-
jete panipaik
разобраться — orienteeruma

мерзость (м.) — jälkus
будничное страшное — argipäe-
vaselt-õudne
грязная ступня — porine jala-
tald
жалеть деятельно — tegevalt
haletsema
выхватить шпагу из ножен —
haarama mõõga tupest
боевая позиция — võitlusasend

ную правду в пёстрых словёчках красивенькой лжи. К жизни, к жизни! Надо растворить в ней всё, что есть хорошего, человеческого в наших сердцах и мозгах.

... Меня особенно сводило с ума отношение к женщине; начитавшись романов, я смотрел на женщину как на самое лучшее и значительное в жизни. В этом утверждали меня бабушка, её рассказы о богородице и Василисе Премудрой, и те сотни, тысячи замеченных мною взглядов, улыбок, которыми женщины, матери жизни, украшают её, эту жизнь, бедную радостями, бедную любовью.

Славу женщине пели книги Тургенева, и всем, что я знал хорошего о женщинах, я украшал памятный мне образ Королевы; Гейне и Тургенев особенно много давали драгоценностей для этого.

Возвращаясь вечером с ярмарки, я останавливался на горе, у стены кремля, и смотрел, как за Волгой опускается солнце, текут в небесах огненные реки, багровеет и синеет земная, любимая река. Иногда в такие минуты вся земля казалась огромной арестантской баржей; она похожа на свинью, и её лениво тащит куда-то невидимый пароход.

Но чаще думалось о величине земли, о городах, известных мне по книгам, о чужих странах, где живут иначе. В книгах иноземных писателей жизнь рисовалась чище, милее, менее трудной, чем та, которая медленно и однообразно кипела вокруг меня. Это успокаивало мою тревогу, возбуждая упрямые мечты о возможности другой жизни.

И всё казалось, что вот я встречу какого-то простого, мудрого человека, который выведет меня на широкий, ясный путь.

И так хочется дать хороший пинók всей земле и себе самому, чтобы всё — и сам я — завертелось радостным вихрем, праздничной пляской людей, влюблённых друг в друга, в эту жизнь, начатую ради другой жизни — красивой, бодрой, честной...

Думалось:

«Надобно что-нибудь делать с собой, а то — пропаду...»

растворить — sulatama
багровеет — punetama
пинók — jalahoop

радостный вихрь — gōmus tuu-
lispea

Хмұрыми осенними днями, когда не только не видишь, но и не чувствуешь солнца, забываешь о нём, — осенними днями не однажды случалось плутать в лесу. Собиьешься с дороги, потеряешь все тропы, наконец, устав искать их, стиснешь зубы и пойдёшь прямо чащей по гнилóму валёжнику, по зыбким кочкам болота — в конце концов всегда выйдешь на дорогу!

Так я и решил.

Осенью этого года я уехал в Казань, тайно надеясь, что, может быть, пристроюсь там учиться.

стиснуть зубы — hambaid risti
suruma

плутать = ходить, не зная до-
роги (ekslema)

тропа — rada

чаща — tihnik

гнилóй валёжник — mädanev
tuulemurd

зыбкие кóчки — hóljuvad soo-
mättad

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.	
Предисловие	3	II
Макар Чудра	5	Испытание смелости 146
Челкаш	21	
Детство (сокращ.)		IV
I		У чертёжника 151
1. Смерть отца, рождение и смерть брата	63	V
2. Родня	67	На пароходе 158
II		IX
1. Жизнь в доме дедушки	73	1. Страсть к чтению 166
2. Порка	80	2. Читаю ночи напролёт 173
3. Дедушка рассказывает про старину	85	X
IV		Королева Марго 178
Пожар	87	XII
V		В лавке икон и церковных книг 187
1. Бабушка — мастерица на все руки	92	XIII
2. Обучение грамоте	93	В иконописной мастерской 192
VII		XIV
1. Как молилась бабушка	97	1. Сила поэзии 196
2. Как молился дед	101	2. Комедиями против скуки 200
3. Дома и на улице	105	XV
XI		Поворот в жизни 202
1. Оспа	107	XVI
2. Бабушка рассказывает про отца	109	На лодке по улицам яр- марки 206
XII		XVII
1. Вотчим	121	Десятником в мёртвом го- роде 209
2. В школе	123	XIX
3. Месть за мать	127	Певец Клецов 213
XIII		XX
1. Дед заболел скупостью	132	Тревожные мысли 217
2. Смерть матери	135	
В людях (сокращ.)		
I		
1. «Мальчиком» в обувной торговле	141	
2. В больнице	143	

М. Горький

ИЗБРАННЫЕ РАССКАЗЫ

Эстонское Государственное Издательство
Таллин, Пярну маантеэ 10.

*

Редактор Р. Кресс
Технический редактор Л. Успыльд
Корректор Н. Круглова

Сдано в набор 6 IX 1955. Подписано к печати
2 XII 1955. Бумага 54 × 84. $\frac{1}{16}$. Печатных листов 14 + 1
элейка. По формату 60 × 92 печатных листов 11,53.
Учетно-издательских листов 12,19. Тираж 4000.

МВ 19314. Заказ 2439.

Типография «Тарту Коммунист», Тарту,
Юликооли 17/19.

Цена руб. 3.40

6—6

Рyб. 3.40

XIV
1A-7902

TÜ RAAMATUKOGU

1 0300 00143570 2